
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ШКАТУЛКА
РАССКАЗЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ
КЛАССИКОВ

Рождественская шкатулка. Рассказы зарубежных классиков

Сельма Лагерлёф, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Жан-Жак Порша+, Чарльз Диккенс, Макс Вебер, Карл Эвальд, Ги де Мопассан

Аннотация
Рождественская шкатулка. Рассказы зарубежных классиков
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Щелкунчик и мышиный король
Сочельник
Подарки
Любимец
Чудеса
Сражение
Болезнь
Сказка о крепком орехе
Продолжение сказки о крепком орехе
Конец сказки о крепком орехе
Дядя и племянник
Победа
Кукольное царство

Столица
Заключение
Сельма Лагерлёф
Святая ночь
Ги де Мопассан
Рождественское чудо
Жан-Жак Порша
Три месяца в снегу
Предисловие
Дневник юноши
Макс Вебер
Под поездом в ночь на Новый год
Карл Эвальд
Рождество
Чарльз Диккенс
Рождественская песнь в прозе
Строфа I. Дух Марли
Строфа II. Первый дух
Строфа III. Второй дух
Строфа IV. Последний дух
Строфа V. Эпилог

Аннотация

Рождество Христово – один из самых светлых и любимых праздников в христианской традиции, окутанный атмосферой уюта, надежды и чудес. В литературе этот праздник часто становится фоном для трогательных и символичных историй, раскрывающих глубину человеческой доброты, веры и прощения. Многие классики обращались к рождественской теме, наполняя свои произведения теплом и важными нравственными уроками.

Сборник «Рождественская шкатулка: рассказы зарубежных классиков» объединяет лучшие рассказы, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Каждый из них – маленький мир с живыми образами и глубоким смыслом, способный согреть душу и вдохновить на добрые дела.

Рождественская шкатулка. Рассказы зарубежных классиков



Серия «Христианские праздники. Подарочные издания»



Иллюстрации на обложке Елены Кузнецовой

Художественное оформление Елены Анисиной



Авторы:

Ги де Мопассан, Жан-Жак Порша, Карл Эвальд, Макс Вебер, Сельма Лагерлёф, Чарльз Диккенс, Эрнст Теодор Амадей Гофман

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Щелкунчик и мышиный король
Сочельник

Целый день двадцать четвёртого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в тёмном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, наверное, знает, что это был их крёстный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

— Ах, я думаю, что крёстный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома советник Дроссельмейер был очень

некрасив собой; это был маленький, сухощавый старичок, с множеством морщин на лице; вместо правого глаза был у него налеплен большой чёрный пластырь; волос у крёстного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крёстного за то, что он был великий искусник и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крёстный приходил, снимал свой парик и жёлтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крёстный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот, — и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крёстный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую

игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав её детям, потом всегда бережно прятали её в шкаф.

— Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крёстный? — повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крёстный, наверно, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят её взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

— Нет, нет, — сказала Маша, — крёстный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки, а потом придёт к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами.

— Лебеди конфет не едят, — перебил Фриц, — да и как может крёстный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают; то ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая её кукла, мамзель Трудхен,

стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у неё теперь всё лицо в противных отметинах, а о чистоте её платья нечего было и говорить; как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у её подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостаёт хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их ёлку и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые всё ещё шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие, а потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари при-

задумалась над словами сестры, а Фриц не мог всё-таки удержаться, чтобы не пробормотать: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»

Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово, им казалось, что будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперёд со словами:

— Ну, детки, пойдёмте смотреть, чем одарил вас младенец Христос!

Подарки

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, — Фриц, Теодор, Эрнст, всё равно, как бы тебя ни звали, — и прошу припомнить,

с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, — и тогда ты хорошо поймёшь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую ёлку! Мари только воскликнула:

— Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал прыгать и скакать, как козлёнок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что ещё ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви стоявшей посередине ёлки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звёздочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под ёлкой — трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего её обрадовало шёлковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

— Ах, моё милое платьице! — в восторге воскликнула Маша. — Ведь оно точно моё? Ведь я его надену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг ёлки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал её по холке и сказал, что конь — лютый зверь, ну да ничего: уж он его вышколит! Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко-красных, с золотом, мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображённые, что, казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это, значит, пришёл черед подаркам крёстного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол,

раздвинулись, — и что же увидели дети! На свежем, зелёном, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещённом множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крёстного Дроссельмейера, в зелёном плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крёстный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:

— Крёстный, крёстный! Позволь мне войти в этот замок!

Крёстный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который, со всеми его золотыми башенками, был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и

замолчал.

Посмотрев ещё некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зелёный человечек всё выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:

— Крёстный, сделай, чтобы этот зелёный человечек выглянул из других дверей!

— Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, — возразил крёстный.

— Ну так вели ему, — продолжал Фриц, — гулять и танцевать с прочими, а не высовываться.

— И этого нельзя, — был ответ.

— Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

— Ничего этого нельзя, — ответил немного обиженный крёстный, — в механизме всё сделано раз и навсегда.

— Во-о-т как, — протяжно сказал Фриц. — Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперёд и назад, как я захочу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать

всё, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крёстного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали всё одно и то же; она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крёстного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:

— Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крёстного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием всё показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям ещё несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нём такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на неё, захотелось непременно надеть своё, в котором, ей казалось, она будет ещё лучше. Ей это охотно позволили.

Любимец

Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нём всё время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусар и стал делать под ёлкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдёт до него. Правда, он был не очень складный: невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговок и шнурков, такие же рейтузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крёстный Дроссельмейр носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым

крёстным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крёстный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зелёных глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало ещё милее улыбку его больших красных губ.

— Ах, — воскликнула Мари, — кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за ёлкой?

— Это вам всем, милые дети, — отвечал папа, — и тебе, и Луизе, и Фрицу; он будет для всех вас щёлкать орехи.

С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых, белых зубов. Мари положила ему в рот орех; человечек вдруг сделал — щёлк! — и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое, вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовётся Щелкунчик. Мари была в восторге.

— Ну, Мари, — сказал папа, — так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе; береги его и защищай; хотя, впрочем, в его обязанность входит щёлкать орехи и для Фрица с Луизой.

Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щёлкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы.

Луиза подсела к ней, и добрый Щелкунчик стал щёлкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ.

Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услыхав, как весело щёлкались орехи, подбежал к сёстрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигуру Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щёлкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось — крак-крак! — и три белых зуба Щелкунчика упали на пол, да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.

— Ах, мой бедный Щелкунчик! — заплакала

Мари, отобрав его у Фрица.

— Э, да какой он глупый! — закричал Фриц. — Хочет щёлкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне, я заставлю его щёлкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!

— Нет, нет, оставь, — со слезами сказала Мари, — я тебе не дам моего милого Щелкунчика, посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик: ты бьёшь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.

— Потому что так надо, — возразил Фриц, — и ты в в этом ничего не смыслишь; а Щелкунчика всё-таки дай мне; его подарили нам обоим!

Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крёстным. Крёстный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:

— Я поручил Щелкунчика беречь Мари, а так как он теперь болен и больше всего нуждается в её заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать!

Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошёл на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари между тем собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и ещё осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребёнка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крёстный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крёстного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки:

— Как знать, крёстный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки.

Родители громко засмеялись, а крёстный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крёстного вдруг так покраснел нос, но уж,

верно, была какая-нибудь на то своя причина.

Чудеса

В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была ещё очень маленькой девочкой, когда её папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо всё устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались ещё лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крёстным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить всё что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трудхен, устроила премиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и

пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари (ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари), — итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая, чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Всё это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен.

Между тем наступил поздний вечер; стрелка часов показывала двенадцатый; крёстный Дроссельмейер давно ушёл домой, а дети всё ещё не могли расстаться со стеклянным шкафом, так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.

— Правда, правда, — сказал Фриц, — надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняг не посмеет лечь, пока я тут, я это знаю хорошо.

С этими словами он ушёл. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться ещё хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить

свои дела, а потом она сейчас же пойдёт спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить её одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую её бледным, мерцающим полусветом.

— Приходи же скорей, Мари, — сказала мама, уходя в свою комнату, — если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать.

Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое её очень тревожило и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной Щелкунчик всё ещё был у неё на руках, завёрнутый в её носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул её до глубины души.

— Ах, мой милый Щелкунчик! — сказала она. — Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил; Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и всё же он очень добрый мальчик,

я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крёстный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо; он на такие штуки мастер…

Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейра Щелкунчик вдруг скривил лицо и в глазах его мелькнули колючие зелёные огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо Щелкунчика уже опять приняло своё доброе, ласковое выражение.

— Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я всё-таки люблю Щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует.

Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:

— Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а тебя я уложу на диван; ведь ты здорова; посмотри, какие у тебя красные щёки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван.

Клерхен, сидя в своём великолепном платье, как показалось Мари, надула при её предложении немножко губки.

— И чего я церемонюсь! — сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на неё своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.

«Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен», — подумала Мари и кровать вместе с лежавшим на ней Щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать, но тут — слушайте внимательно, дети! — тут за печкой, за стульями, за шкафами — словом, всюду, вдруг послышались тихий, тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперёд свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:

— Хррр…р! Часики, идите! — тише, тише, не шумите! — король мышиный к вам идёт! — войско своё ведет! — хрр…р — хрр-р! бим-бом! — бейте, часики, бим — бом!

И затем, мерно и ровно, часы пробили двенадцать. Мари стало вдруг так страшно, что она

только и думала, как бы убежать, но вдруг, взглянув ещё раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крёстный Дроссельмейер и, распустив руками полы своего жёлтого кафтана, махал ими, точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:

— Крёстный! Крёстный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крёстный!

Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон, точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей, под карнизами, выглянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки, и Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот! Хлоп-хлоп! — так и раздавалось по комнате.

Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами, и наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх её уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у

Маши по жилам. Ах! Что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц! Хотя я и уверен, что у тебя, так же как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, всё же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверно, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого! Вы только послушайте, дети! Как раз возле неё из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков известки, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед затем выглянуло целых семь мышиных голов с золотыми коронами, и — представьте — все эти семь голов сидели на одном туловище! Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась наконец из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало её с громким, торжественным писком, после чего всё воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана — сердечко её почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрёт, но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в её жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. — и стекло

в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтём, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у неё сразу отлегло от сердца: она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы.

Но что же это опять? В шкафу, за спиной Мари, поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали:

— В бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой, ночью в бой! Бей тревогу!

И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.

— Ах, это колокольчики в игрушке крёстного, — радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые.

Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мочь: «Крак, крак! Мышиный король дурак! Крак, крак! Дурак! Дурак!»

При этом он размахивал по воздуху своей шпа-

гой и продолжал кричать:

— Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель, трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик и хором воскликнули:

— Да, принц! Клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!

С этими словами они все, вместе с Щелкунчиком, спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо! На них были толстые шёлковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись, а каково было спрыгнуть, почти на два фута вниз, бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверно, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнажённым мечом в свои нежные объятия.

— Ах, моя милая, добрая Клерхен! — воскликнула Мари. — Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику.

Клерхен же, прижимая героя к своей шёлковой груди, говорила:

— О принц! Неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Останьтесь! Лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернутся с победой ваши храбрые вассалы! Паяц, Полишинель, трубочист, тиролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!

Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вёл себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у неё на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:

— О сударыня! Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!

Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блёстками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:

— Нет, сударыня, нет, не этим! — И, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал её к губам, а затем, надев ленту себе на руку как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой.

Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик ещё до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари и только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то что та была очень красива и сверкала. Доброму, верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари!

Однако что-то будет, что-то будет!

Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами!

Что-то будет! Что-то будет!

Сражение

— Бей походный марш, барабанщик! — громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стёкла в шкафу.

Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска Фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга,

впопыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.

— Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места! — крикнул он сердито и затем, обратясь к побледневшему Полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал:

— Генерал! Я знаю вашу храбрость и опытность; вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией; самому вам лошади не надо, у вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же вашу обязанность!

Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и сто трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ; кирасиры, драгуны, а главное — новые блестящие гусары Фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая Щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артилле-

ристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! — раздался первый залп, и Мари увидела, как ядра из драже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжёлая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твёрдых, круглых пряников, от которых они с писком разбегались в разные стороны.

Однако основная их масса придвигалась всё ближе и ближе, и даже некоторые пушки были уже ими взяты, но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей всё прибывали, и их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трудхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.

— О неужели я должна умереть вот так, во цвете лет! Я! Самая красивая кукла! — воскликнула Клерхен.

— Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырёх стенах! —

перебила Трудхен; и, бросившись друг другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения.

А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить! Прр…р! Пиф-паф, пуф! Трах, тарарах! Бим, бом, бум! — так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышиного короля и его мышей да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувядаемой славой, но вдруг гусары Фрица были забросаны артиллерией мышей отвратительными, зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновившись ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а наконец, и самому себе, так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминой скамейке батарею; и действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем

на батарею, сумела опрокинуть скамейку, так что пушки, артиллеристы, прислуга — словом, всё покатилось по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты, без сомнения, знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство, и я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Машей Щелкунчика. Но погоди! Позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока всё ещё в порядке, и надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и, вдруг выскочив оттуда, с гиком и свистом бросился на левый фланг Щелкунчика, но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность, — надо было перелезать через порог шкафа, — мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пёстрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и т. п., с истинно спартанской

храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову, а тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей; как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, от чего он умирал на месте. Но всё это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая всё дальше и дальше, всё более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа. «Резервы! Скорее резервы! Полишинель! Паяц! Барабанщик! Где вы?» — так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь ещё оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам, с золотыми лицами, шляпами и шлемами, но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а, напротив, сбили шляпу

с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:

— Коня! Коня! Полцарства за коня!

В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ; мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мари, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:

— О мой бедный Щелкунчик! — и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей.

В тот же миг всё словно прахом рассыпалось; Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок.

Болезнь

Очнувшись, точно от тяжёлого сна, Мари увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стёкла окон.

Возле неё сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:

— Ну вот, она очнулась.

Мама подошла к ней и посмотрела на неё испуганным, вопрошающим взглядом.

— Ах, милая мамочка! — залепетала Мари. — Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасён ли мой милый Щелкунчик?

— Полно, Мари, болтать всякий вздор, — сказала мама. — Какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уж без того напугала нас всех; видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и всё делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала.

Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку, и если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочки стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и истечь кровью, а то и лишиться руки. Слава Богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу, возле шкафа, всю в крови и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики Фрица, пряничные куклы и знамёна; Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посредине комнаты.

— Ах, мама, мама! Вот видишь! Это были следы сражения кукол с мышами, и я испугалась потому, что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом.

Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:

— Хорошо, хорошо! Пусть будет так, только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик, весёлый и здоровый, стоит в твоём шкафу.

Тут вошёл в комнату папа и долго о чём-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке,

вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь Щелкунчик её спасся, но нередко во сне она слышала его голос, который говорил: «О моя милая, прекрасная Мари! Как я вам благодарен! Но вы можете ещё многое для меня сделать!»

Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла, из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у неё при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для неё бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у её кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки.

Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошёл крёстный Дроссельмейер со словами:

— Ну-ка дайте мне посмотреть на нашу бедную, больную Мари!

Мари, как только увидела крёстного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила

ту ночь, когда Щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:

— Крёстный, крёстный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтоб они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиного короля! Зачем ты не помог Щелкунчику, не помог мне, гадкий крёстный? Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!

— Что с тобой, Мари? — спросила мама с испуганным лицом; но крёстный вдруг скорчил какую-то престранную гримасу и забормотал нараспев:

— Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Бейте, часики, тик-тук! Тик да тук, да тик да тук! Бим-бом, бим-бам! Клинг-кланг, клинг-кланг! Бейте, часики, сильней! Прогоните всех мышей! Хинк-ханк, хинк-ханк! Мыши, мыши, прибегайте! Глупых девочек хватайте! Клинг-кланг, клинг-кланг! Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Прр-пурр, прр-пурр! Шнарр-шнурр, шнарр-шнурр!

Мари широко открытыми глазами уставилась на крёстного, который показался ей ещё некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками, точно картонный плясун, когда

его дёргают за верёвочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера:

— Крёстный, крёстный! — закричал он. — Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку.

Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:

— Послушайте, советник, что это, в самом деле, за неуместные шутки?

— О Господи, — рассмеялся советник, — разве вы не знаете моей песенки часовщика? Я её всегда напеваю таким больным, как Мари.

Тут он сел к Маше на кровать и сказал:

— Ну, ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю его все четырнадцать глаз. За это я тебя теперь порадую.

С этими словами крёстный полез в карман, и что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика! Милого Щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть.

Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:

— Видишь, как крёстный любит твоего Щелкунчика.

— Ну само собой, — возразил крёстный, — только знаешь что, Мари, теперь у твоего Щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и всё такой же урод, как и был. Хочешь я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Пирлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?

— Послушай, крёстный, — внезапно перебил Фриц, — зубы Щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?

— Ну ты, неугомонный! — проворчал советник. — Тебе нужно всё знать и во всё совать свой нос; какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам где хочет!

— Правильно! — закричал Фриц. — Если он храбр, то добудет себе оружие.

— Ну так что же, Мари, — продолжил советник, — знаешь ты или нет историю про принцессу Пирлипат?

— Ах, нет, нет, милый крёстный, — отвечала Мари, — расскажи мне её, пожалуйста.

— Я надеюсь, советник, — сказала мама, — что история эта не будет очень страшной, как обык-

новенно бывает всё, что вы рассказываете.

— О, нисколько, дорогая госпожа Штальбаум, — возразил советник, — напротив, она будет очень забавной.

— Рассказывай, крёстный, рассказывай, — воскликнули дети, и советник начал так…

Сказка о крепком орехе

Мать принцессы Пирлипат была женой короля, а потому Пирлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около её люльки на одной ноге, приговаривая:

— Гей-да! Видал ли кто-нибудь девочку милее моей Пирлипатхен?

И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:

— Не видали, не видали!

И это не было ложью, потому что действительно трудно было найти во всём свете ребёнка прелестнее новорождённой принцессы. Личико её было точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз, глазки сверкали, как голубые звёздочки, а волосы вились прелестней-

шими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Пирлипатхен родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов, и когда, спустя два часа после её рождения, рейхканцлер хотел пощупать её дёсны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-ай-ай!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал: «Ой-ой-ой!» — но вопрос этот до сих пор ещё не решён окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейхканцлера за палец и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы.

Рождение её, как уже было сказано, обрадовало решительно всех, и только одна королева вдруг стала, неизвестно почему, грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорождённой. Мало того, что у самых дверей её комнаты стояли на страже драбанты и что у колыбели всегда сидели две няньки, королева приказала, чтобы ещё шесть нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему каждая из этих шести нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы

не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу.

Раз ко двору отца Пирлипат съехалось много прекрасных принцев и королей, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и т. п. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистером, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете, тем более что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное время для колки свиней. Сказано — сделано! Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством; перед обедом же дружески сказал королеве:

— Ведь ты, дружочек, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу…

Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню

большой золотой котёл, а также серебряные кастрюльки; когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух от варившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив: «Извините, господа, я сейчас ворочусь», — побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного скипетром в котле и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание.

Между тем кухне предстояло самое важное дело: поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева, из любви и уважения к королю, хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок:

— Сестрица, сестрица! Позвольте мне кусочек! Ведь я такая же королева, как и вы; мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала.

Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому

под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:

— Сделайте одолжение, госпожа Мышильда, пожалуйте сюда и кушайте на здоровье.

Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут, вслед за крысой, прибежала вся её родня, тётки, кумушки, а главное — семь её сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обер-гофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математиком по равному кусочку на каждую колбасу.

Между тем трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах — кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже — собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной

любезностью и затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола, со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест; лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс; наконец после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма жжёных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причём первыми его словами было:

— Слишком мало сала!

Королева, едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая:

— О бедный, несчастный супруг мой! — кричала она. — Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ног ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своими семью сыновьями, тётками и прочей роднёй съела всё сало! — И с этими словами королева без чувств упала навзничь.

Король в ужасном гневе вскочил со своего ме-

ста и закричал:

— Обер-гофмейстерина! Как это могло случиться?

Та рассказала всё, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за всё крысе и всей её родне.

Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно её имущество; но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить всё это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали так же, как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем её семейством навсегда из пределов королевского дворца.

Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала, и расставил их около крысиной норы.

Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело, но для жадной семьи мудрые её предостережения остались напрасными, и, привлечённые вкусным запахом сала, все её семь сыновей, а также многие из прочих

родственников, попались в машинки механика Дроссельмейра и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне.

Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести.

Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщённой смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из-под пола и сказала:

— Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтоб я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!

С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась, а испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо.

— Но, впрочем, на сегодня довольно; конец расскажу в другой раз, — неожиданно закончил крёстный.

Как ни просила Маша, в головке которой рассказ крёстного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крёстный остался неумолим и, вскочив с места, повторил: «Много сразу — вредно для здоровья! Продолжение завтра».

С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:

— Крёстный, крёстный! Это правда, что ты выдумал мышеловки?

— Какой вздор ты городишь, Фриц! — сказала мама, но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:

— Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик; так почему же мне не выдумать.

Продолжение сказки о крепком орехе

— Теперь вы знаете, дети, — начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером, — почему королева так беспокоилась о новорождённой принцессе. Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу. Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы, и

придворный астроном, носивший титул тайного обер-звездочёта, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почётные должности, причём няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности.

Как-то ночью случилось, что одна из двух обергофнянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась — тишина! Ни шороха, ни мурлыканья! И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на неё своими противными глазами! С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда (это была она) успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то бы-

ло! Она исчезла в щели в полу. Принцесса между тем проснулась от шума и громко расплакалась.

— Слава Богу, она жива! — воскликнули няни; но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребёнком! Вместо белой, с розовыми щёчками, кудрявой головки, на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная уродливая голова. Голубые глазки превратились в зелёные и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей!

Королева от плача и слёз чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:

— О, несчастный я монарх!

Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем её семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение четырёх недель во что бы то ни стало вылечил принцессу или, по крайней мере, указал верное к тому средство; в противном же

случае объявил, что ему будет отрублена голова.

Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в своё искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел её внутреннее строение и, к крайнему прискорбию, пришёл к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом всё безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в её комнате, откуда его не выпускали ни на шаг.

Наступила среда четвёртой недели, и король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:

— Христиан Дроссельмейер! Или вылечи принцессу, или тебя ждёт смерть!

Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щёлкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она без умолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же

разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали её плач орехами.

— О святой инстинкт природы! — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. — О неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу — и тайна откроется!

Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведён к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединённом кабинете, начали рыться в груде книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навёл на звёзды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого, упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех Кракатук и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко.

Орех Кракатук имел такую твёрдую скорлупу,

что её не могло бы пробить сорокавосьмифунтовое пушечное ядро. Мало того — этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который ещё ни разу не брился и не носил сапог. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить семь шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза.

Три дня и три ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа, и наконец в субботу во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принёс он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два праздничных кафтана.

— Сейчас же после обеда, — сказал он, — мы испытаем это средство; позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы, да, главное, не давайте ему вина, чтоб он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные семь шагов; потом пусть пьёт вволю!

Дроссельмейер похолодел при этих словах ко-

роля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех Кракатук и маленького человечка предстояло ещё отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясая скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев:

— Так прощайся же со своей головой!

На счастье Дроссельмейра, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминула ему представить добрая, тронутая участью Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король, хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба — часовщик и звездочёт — немедленно отправятся на поиски ореха Кракатука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях…

Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером.

Конец сказки о крепком орехе

На следующий день, едва зажглись свечи, явился крёстный и стал рассказывать далее:

— Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около шестнадцати лет и всё-таки никак не могли напасть даже на след ореха Кракатука. Какие страны они посетили, какие диковинки видели — этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых четырёх недель, а потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нём с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера.

«О мой милый, родной Нюрнберг! — воскликнул он. — Какие бы города ни посетил путешественник — Лондон, Париж, Петервардейн, — но, увидя тебя в первый раз, с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все!»

Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнёсся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь с силами, отёр слёзы и сказал:

— Послушай, любезный друг! Какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что! Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно всё равно, где искать этот проклятый орех Кракатук.

— А что, ведь и в самом деле! — ответил, развеселившись, Дроссельмейер.

Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха Кракатука, и, слушая, он несколько раз всплескивал руками и всё повторял:

— Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!

Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования, рассказал, как он два года прожил у Финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы Миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Кракатуке во всевозможных учёных обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищёлкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:

— Гм, гм! Эге! Вот оно как!

Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:

— Ну, братец! Ведь ты счастливец! Верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатук у меня!

С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.

— Несколько лет тому назад пришёл сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дёшево купить у него мешок орехов.

Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю, но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашёл в нём именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого.

Сомнение в том, точно ли это орех Кракатук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово «Кракатук».

Можно себе было представить радость путешественников! Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что, кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже всё золото, использованное им на позолоту ореха.

Оба, и часовщик, и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:

— Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Кракатук, но и маленького человечка, который должен его раскусить; и это не кто иной, как сын нашего почтенного хозяина! Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа!

С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звёздами.

Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно ещё ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он, два Рождества кряду, исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нём не заметил бы никто: так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щёлкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали Щелкунчиком. На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:

— Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее: во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить её, с помощью пружин, с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех Кракатук, он даст принцессу Пирлипат в жёны и сделает наследником престола.

Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Пирлипат и сделаться королём, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочётом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твёрдые персиковые ядрышки.

Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с

привезённым ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу, среди них было даже несколько принцев.

Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Её маленькое тело с крошечными, тощими ручонками едва держало огромную уродливую голову. Безобразие её лица ещё более увеличилось из-за белой, точно нитяной, бороды, которой обросли её губы и подбородок.

Дальше всё произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочёт. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти; зубные врачи только приговаривали:

— Ну! Вот так орех!

Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку.

Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце

свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:

— Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!

Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера Кракатук, положил его, не долго думая, в рот, крепко стиснул зубы и раздалось — крак! Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнически колени, он подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг — о чудо! — уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки её опять стали похожи на лилию, с приставшими к ней розовыми лепестками, глаза засверкали, точно голубые звёздочки, а волосы завились прелестными золотыми колечками.

Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно.

Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому ещё бы-

ло положено пятиться семь шагов; однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в седьмой раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы; молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил её каблуком и в одну минуту превратился в такого же урода, каким была до того принцесса. Туловище его съёжилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиною тяжёлый деревянный плащ.

Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но, однако, они заметили, что и крыса, вся в крови, лежала без движения на полу. Злость её не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил её по шее, и ей пришёл конец.

Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:

— Орех Кракатук! Сгубил меня ты вдруг! Хи-хи! Пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придёт конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжко, тяжко дышать! Пришла пора умирать! Пик!

С этими словами крыса умерла, и труп её был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере между тем, казалось,

все позабыли, но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:

— Прочь, прочь, гадкий Щелкунчик!

Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери.

Король, рассердившись, что ему хотели навязать в зятя такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдения и прочёл по звёздам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на своё безобразие, всё-таки будет принцем и королём. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти её семи сыновей с семью головами и ставшего мышиным королём, и если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого Щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем!

Вот вам, дети, сказка о крепком орехе! Теперь

вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему Щелкунчики бывают такие уроды!

Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат — недобрая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и в правду храбрец, то он сумеет управиться с мышиным королём и возвратит себе свою прежнюю красоту.

Дядя и племянник

Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он, без сомнения, помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у неё начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу нашла она всё в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому Щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новы-

ми, крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с её ли Щелкунчиком случилось всё то, о чём рассказывал крёстный в своей сказке о ссоре Щелкунчика с мышиным королем? Рассуждая далее, она пришла к выводу, что Щелкунчик её не кто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крёстного Дроссельмейера.

О том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Пирлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа. «Но почему же не помог тебе твой дядя?» — сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой Щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство. «Если, — думала Мари, — все куклы называли тогда себя его подданными, то, значит, пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».

Рассуждая так, умненькая Маша заключила, что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться, но в шкафу всё было тихо и неподвижно. Тогда Мари,

далёкая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и её семиголового сына.

— Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер, — говорила она, обращаясь к Щелкунчику, — если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всём рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно.

Щелкунчик остался недвижен, но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стёкла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик: «Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук — я буду твой!»

Мари испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство.

Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крёстным; Луиза разлила чай, и всё семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крёстный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела

пристально на крёстного своими большими голубыми глазами и сказала:

— Крёстный! А ведь я знаю, что мой Щелкунчик — это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королём, как предсказал твой друг звездочёт. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышиным королём, сыном крысы Мышильды; почему же ты ему не помогаешь?

При этом Мари снова подробно рассказала историю увиденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьёзны.

— Откуда эта девочка набралась такого вздора? — сказал советник медицины.

— У неё очень живая фантазия, — ответила мама, — и всё это не более чем горячечный бред.

— Да притом это неправда, — закричал Фриц, — мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!

Крёстный между тем, ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, гладя её по головке:

— Не слушай их, моя маленькая Мари! Тебе Бог дал больше, чем всем нам! Ты, как моя Пирлипатхен в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном, прекрасном королевстве, что

же касается твоего Щелкунчика, то тебе придётся перенести из-за него немало горя: мышиный король преследует его везде; не я, а ты одна можешь его спасти, будь только стойкой и преданной!

Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крёстный сказать этими словами, а советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крёстного пульс и сказал:

— Эге, любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове, я вам что-нибудь пропишу.

Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:

— Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами.

Победа

Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.

— Ах, мыши! Это опять мыши! — с испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму, но голос её прервался на полуслове, а холод

пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышиный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на неё, запищал, щёлкая гадкими зубами:

— Хи! Хи! Хи! Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего Щелкунчика! — И, сказав это, опять исчез в своей норе.

Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому всё, что у неё было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала:

— Какая неприятность, у нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все её конфеты.

Так оно и было. Жадный мышиный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя

его, должно быть, по своему вкусу, но всё-таки до того его изгрыз, что остатки всё равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего Щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист! Мышиный царь сидел снова на столике и, сверкая глазами ещё отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:

— Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего Щелкунчика! Разгрызу, разгрызу!

Сказав это, он опять исчез под полом.

Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе её было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, были два почтальона с письмами да, кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец; был Пахтер Фельд-

кюммель с Орлеанскою Девой, которые, впрочем, не особенно нравились Маше; всех же более любила она маленького краснощёкого ребёнка в колыбельке. Слёзы полились из её глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к Щелкунчику, сказала:

— Ах, мой милый господин Дроссельмейер! Поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но всё-таки мне очень, очень тяжело!

Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного царя, с его оскаленными зубами, готового перекусить Щелкунчика пополам, мигом забыла всё и твердо решилась спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюммеля с Орлеанской Девой — в первый.

— Нет, это уже слишком! — воскликнула на другой день советница. — У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу! Представьте, что все сахарные куколки бедной Мари изгрызены и перекусаны на куски!

Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив,

что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слёзы. Когда вечером советница рассказала об этом крёстному Дроссельмейру, отец Мари очень был недоволен и сказал:

— Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все её сласти!

— Ну как не быть? — весело воскликнул Фриц. — Внизу у булочника есть отличный серый кот; надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело, будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын её, мышиный король!

— Да, — прибавила мама, смеясь, — а заодно начнёт прыгать по стульям, столам и перебьёт всю посуду и чашки.

— О нет! — возразил Фриц. — Это очень ловкий кот; я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он.

— Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек, — сказала Луиза, которая их очень не любила.

— Я думаю, — сказал советник, — что Фриц прав, а пока можно будет поставить и мышеловку; ведь у нас она есть?

— Что за беда, если и нет, — закричал Фриц, — крёстный тотчас сделает новую! Ведь он же их

выдумал!

Все засмеялись, когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крёстный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную.

Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Мари и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на неё без страха, и, полная воспоминаниями о странных, слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:

— Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и её семейства!

Фриц же тотчас выхватил саблю и закричал:

— А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!

Но всё оставалось спокойно и в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил её возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Ну смотри, крёстный-часовщик! Не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!

Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо

и, высунув со скрежетом семь кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной, дрожащей Мари:

— Хитри, хитри! В оба смотри! Я ведь ловок! Не боюсь мышеловок! Подавай твои картинки, платьице и ботинки! А не то — ам, ам! Щелкунчика пополам! Хи, хи! Пи, пи, квик, квик!

Можно себе представить горе Мари! Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь ещё не поймана, но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:

— Полно, успокойся, милая Мари! Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота.

Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:

— Ах, мой добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная, маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышиному королю все мои книжки с картинками и моё хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь ещё, а у меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня! О бедная, бедная я девочка! Что же мне делать, что мне делать?

Так плача и жалуясь, Мари заметила, что у Щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный, кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что Щелкунчик был племянником крёстного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать, как прежде, но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что Щелкунчик вдруг в её руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы Щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:

— Ах, моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Милый, единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев! Достаньте мне саблю, только саблю!.. А об остальном уж позабочусь я сам!

На этих словах Щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее, деревянное и безжизненное, выражение. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжёлых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя?

Мари решила посоветоваться с Фрицем, и вечером, когда родители ушли и они остались вдвоём возле шкафа, рассказала ему всё, что происходило между мышиным королём и Щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти.

Фриц стал очень серьёзен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так, и когда она это исполнила, он подошёл к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:

— Что касается сабли, то я могу помочь твоему Щелкунчику; вчера я уволил в отставку с пенсией одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна.

Отставной полковник проживал на пожалованную ему Фрицем пенсию в углу, на третьей полке шкафа; его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали её Щелкунчику.

Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть

глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой ещё никогда не бывало, и сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.

— Мышиный король! Мышиный король! — воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати, но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь её комнаты, сказав тоненьким голоском:

— Успокойтесь, милая фрейлейн Штальбаум, у меня хорошие вести!

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платьице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой, зажжённой восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:

— О дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить! Мышиный король, смертельно раненный, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы!

С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки, надетые им, как браслеты, семь ко-

рон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.

— Теперь, когда враг мой повержен, — продолжал Щелкунчик, — я покажу вам, дорогая фрейлейн Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы; решитесь только последовать за мною; решитесь, прошу вас! Не бойтесь ничего!

Кукольное царство

Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым, милым Щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мари готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность Щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:

— Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я ещё не выспалась.

— Ну, в таком случае, — возразил Щелкунчик, — я выберу самую короткую, хотя и не совсем

удобную дорогу.

Он пошёл вперёд, а Мари за ним, пока наконец оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого, бывшего всегда запертым, шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он её дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева лестница.

— Взойдите по этой лестнице, милая Мари, — крикнул Щелкунчик сверху.

Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что её внезапно озарил какой-то легкий приятный свет, и она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней.

— Мы на Леденцовом лугу, — сказал Щелкунчик, — и сейчас пройдем вон через те ворота.

Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах

от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов, но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом, потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались Миндально-Изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами обжор-студентов. На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели шесть маленьких, одетых в красные курточки обезьян и играли янычарский марш, так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку всё дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов полу.

Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, нёсшиеся из чудесного, лежавшего по обе стороны дороги леска. На фоне его тёмной зелени сверкали светлые точки, и, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же лёгкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели, точно хрустальные колоколь-

чики, и вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.

— Ах, как здесь хорошо! — воскликнула восхищённая Мари.

— Мы в лесу Детских рождественских подарков, — сказал Щелкунчик.

— О погодите же, не идите очень скоро, здесь так хорошо, — продолжала Мари.

Щелкунчик остановился, хлопнул в ладони, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шёлковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.

— Извините, милая фрейлен Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога; им досадно также, что они не могут достать повешен-

ных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?

— Да что вы, балет был просто прелесть какой и мне очень понравился! — сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком.

Они пошли вдоль светлого струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.

— Это Апельсиновый ручей, — ответил Щелкунчик на расспросы Мари, — он правда очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с Лимонадной речкой, впадающей в Озеро миндального молока, которые мы сейчас увидим.

До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды, и скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлада веяла от прекрасных вод. Неподалёку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеёк с очень приятным запахом; на берегу его сидели красивые детки и удили маленьких, толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие, круглые пряники. Не-

подалёку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами — всё тёмного цвета, но с позолоченными крышами, а на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.

— Это деревня Медовых пряников, — сказал Щелкунчик, — и лежит она на берегу Медового ручья; жители её очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдём.

В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел весёлый шум и гам уличного движения; сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.

— Мы в Конфетенхаузене, — сказал Щелкунчик, — куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из Бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух, вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бума-

жек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны: в столицу! в столицу!

Щелкунчик быстро пошёл вперёд, а за ним полная любопытства Мари. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и всё вокруг вдруг озарилось нежным розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск сверкавшей, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.

— Ах, — воскликнула в восторге Мари, — это точно то озеро, которое обещал мне сделать крёстный Дроссельмейер, а я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!

Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как ещё ни разу не смеялся, и сказал:

— Ну нет! Крёстному такой вещи не сделать!

Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум… Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить, отправимся лучше по Розовому озеру в столицу.

Столица

Щелкунчик захлопал в ладони, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего; волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним сверкавшую, точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. Двенадцать прелестных маленьких арапчат, в шапочках и передниках, сделанных из радужных пёрышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала её, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру.

Весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим её своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая своё журчание с хором тоненьких голосков, которые слы-

шались повсюду из волн: «Послушайте, скорее, скорее! — навстречу хорошенькой фее! Мушки, жужжите! Рыбки, плывите! Лебеди, песенки пойте! Волны, кружитесь, играйте! — Птички, над нами летайте! Динь-динь-дон! Динь-динь-дон!»

Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась двенадцати маленьким арапчатам, сопровождавшим Мари; они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали, и в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою: «Клип-клап! Клип-клап! Не уступит вам арап! Рыбки прочь! Птички прочь! Клип-клап! Клип-клап!»

— Арапчата — весёлый народ, — сказал Щелкунчик с некоторым беспокойством, — но они у меня взбаламутят сейчас всё море.

И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мари этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на неё прелестные улыбающиеся лица.

— Ах, — радостно воскликнула она, всплеснув руками, — посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь это принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите,

посмотрите, прошу вас!

Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

— О моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Это не принцесса Пирлипат, а вы, вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!

Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили её на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей ещё лучше, чем лес Детских подарков; так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный тончайший аромат.

— Мы в Цукатной роще, — сказал Щелкунчик, — а там лежит столица.

Боже! Что увидела Мари, взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелёными гирляндами.

Когда Мари с Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь, а маленький человечек, одетый в пёстрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!

Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Дроссельмейера принцем. В эту минуту до слуха её стал доноситься шум и гам, звуки ликования и весёлых песен; удивлённая Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.

— О милая фрейлейн Штальбаум, — ответил тот, — в этом нет ничего удивительного; Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдёмте, прошу вас, дальше.

Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть! Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине пло-

щади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окружённый четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, оршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из сбитых сливок, так что её можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который ещё издали так поразил Мари.

Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, арлекины — словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт: толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого Могола, сопровождаемого девяносто тремя подвластными ему князьями и семьюстами невольниками, и надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков, в количестве пятисот человек; да, кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с тремя тысячами янычар, к тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая, с музыкой и

звоном, торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые! Раздались жалобные крики; один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий Могол чуть не был сбит с ног арлекином. Свалка принимала всё более и более опасный характер, и дело почти уже не доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил три раза в колокол и громко три раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось; каждый кинулся спасаться как мог; великий Могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.

— Кто такой этот кондитер? — спросила Мари.

— Ах, милая фрейлин Штальбаум, — отвечал Щелкунчик, — кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу; она может делать из людей всё, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким весёлым народцем, и все так его боятся, что уже одно произнесённое его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает всё и невольно впада-

ет в раздумье о том, что такое жизнь и что такое есть он сам!

В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещённый розовым светом, с множеством легких, воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, и их яркие краски восхитительно переливались на белых, подёрнутых розоватым оттенком стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших как жар, звёздочек.

— Мы перед Марципановым замком, — сказал Щелкунчик.

Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца, однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам:

— Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или, лучше сказать, даже совершенная погибель; великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж

хотел было приняться за купол, да жители успели его умилостивить, поднеся ему, в виде выкупа, целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше.

В эту минуту послышались звуки тихой, нежной музыки, ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли двенадцать маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали четыре дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах; Мари сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью:

— О милый принц! Милый братец!

Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил её подошедшим, сказав с жаром:

— Вот фрейлейн Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница. Если б она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем! Судите сами, может

ли сравниться с фрейлейн Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирождённая принцесса? Нет, тысячу раз нет!

Дамы воскликнули:

— Нет! нет! — И со слезами бросились обнимать Мари.

— О милая, добрая спасительница нашего брата! Прелестная фрейлейн Штальбаум!

Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского дерева.

Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды, всё из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню

своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Мари очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:

— Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки.

Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под её пестиком, точно напевая весёлую песенку, а Щелкунчик начал рассказывать сёстрам подробности о битве его войска с мышиным королем, о том, как он был почти побеждён вследствие трусости своих солдат и как противный мышиный король, наверно, раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами, и т. д. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика всё как-то более и более перемешивается с ударами её пестика о стенки ступки; а затем какой-то серебристый туман,

спускаясь откуда-то сверху, одел и её, и принцесс, и Щелкунчика лёгкой, прозрачной пеленой, так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними; пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она, точно на лёгких, качающихся волнах, поднималась куда-то высоко-высоко, всё выше… выше…

Заключение

Та-ра-ра-бух! — вдруг раздалось в ушах Мари, и, не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге, открыв глаза, увидела она, что лежит в своей кровати, светлый день глядит в окно, а мама стоит возле неё и говорит:

— Как же ты, Мари, так долго спишь! Ведь уже завтрак на столе.

Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ей чудесами в Марципановом замке, в конце концов заснула и что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли её домой, в её кровать.

— Ах, мамочка, милая моя мамочка! Если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой

Дроссельмейер и какие чудеса я видела! — воскликнула Мари, и при этом рассказала всё, что я вам уже рассказал, на что мама удивилась и сказала:

— Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы.

Мари стояла, однако, на своём, уверяя, что это был не сон, а сущая правда, так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:

— Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?

— Ах, мама, — перебила её Мари, — да ведь Щелкунчик — это молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крёстного Дроссельмейера!

Тут оба, и советник, и советница, разразились неудержимым смехом.

— Папа, папа! — почти со слезами говорила Мари. — Вот ты смеёшься над моим Щелкунчиком, а знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок и он представил меня своим сёстрам-принцессам?

Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицем. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки семь корон мышиного короля и сказала, подавая их маме:

— Так вот смотри же, мама: видишь эти семь корон мышиного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память, в знак своей победы.

Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного, блестящего металла и притом с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтоб Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала, и когда папа начал её строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:

— Бедная, бедная я девочка! Что же должна я говорить?

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату

вошел крёстный:

— Что это? — воскликнул он. — Моя милая крестница Мари плачет! Что это значит?

Советник рассказал ему всё, что случилось, и показал ему коронки. Крёстный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:

— Так вот в чём дело! Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и два года тому назад подарил Мари в день её рождения. Разве вы забыли?

Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить, а Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крёстному на шею и воскликнула:

— Крёстный, крёстный! Ты всё знаешь, уверь их, что Щелкунчик мой — твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга и что коронки подарены мне им!

Крёстный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:

— Какая, однако, глупая штука вышла!

Тогда советник взял Мари за руку и, поставив её перед собой, сказал очень серьёзно:

— Послушай, Мари, ты должна выбросить из головы эти глупости! Если же ты ещё станешь уверять, что твой глупый Щелкунчик племян-

ник господина Дроссельмейра, то я выброшу за окошко и его, и всех остальных твоих куколок, не исключая мамзель Клерхен.

С тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что её так радовало и восхищало, хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие она видела! Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тёзка твой Фриц Штальбаум не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя её глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш! Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидал! Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры!

Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли её, окружая её каким-то чудным

светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нём и, вместо того чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и её прозвали маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крёстный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погружённая в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.

— Ах, милый господин Дроссельмейер, — вдруг невольно сорвалось с её языка, — если б вы жили на самом деле, то поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Пирлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту!

— Ну, ну, глупые выдумки! — вдруг так громко крикнул крёстный, что в ушах у Мари зазвенело и она без памяти свалилась со стула.

Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около неё и говорит:

— Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка! Вставай скорей, к нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга; будь же умницей и веди себя при нём хорошо.

Взглянув, Мари увидела, что крёстный, одетый опять в свой жёлтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, словом, кровь с молоком; на нём был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шёлковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса; маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шёлковую шляпу.

Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими — марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щёлкал орехи для всех. Самые твёрдые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дёргал себя за косу, раздавалось — крак! — и орех рассыпался на кусочки.

Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека, и покраснела ещё

больше, когда после обеда он учтиво попросил её пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.

— Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, — сказал крёстный, — я ничего не имею против; теперь все мои часы в порядке.

Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:

— О милая, дорогая фрейлейн Штальбаум! Примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Пирлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким уродливым Щелкунчиком и приобрёл свою прежнюю, не лишённую приятности внешность! О милая фрейлейн! Осчастливьте меня вашей рукой! Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владетельницей Марципанового замка!

Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:

— Милый господин Дроссельмейер! Я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек, и так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населённой милым, весёлым народом стране, то

я охотно соглашаюсь быть вашей невестой!

Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера.

Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увёз Мари к себе на золотой карете, запряжённой серебряными лошадками. На свадьбе танцевали двадцать две тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками — словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарён зрением, способным видеть такие вещи.

Вот вам сказка про Щелкунчика и мышиного короля.

Сельма Лагерлёф

Святая ночь

Когда мне было пять лет, меня постигло очень большое горе. Более сильного я, кажется, с тех пор и не знала: умерла моя бабушка. До самой своей кончины она проводила дни, сидя в своей комнате на угловом диване и рассказывая нам сказки.

Бабушка рассказывала их с утра до вечера, а мы, дети, тихо сидели возле неё и слушали. Чудесная это была жизнь! Никаким другим детям не жилось так хорошо, как нам.

Лишь немногое сохранилось у меня в памяти о моей бабушке. Помню, что у неё были красивые, белые как снег, волосы, что она ходила совсем сгорбившись и постоянно вязала чулок.

Помню ещё, что, кончив рассказывать какую-нибудь сказку, она обыкновенно опускала свою руку мне на голову и говорила:

— И всё это такая же правда, как то, что мы сейчас видим друг друга.

Помню я и то, что она умела петь чудесные песни, но пела она их не часто. В одной из этих песен речь шла о рыцаре и о морской царевне, и у неё был припев: «Ветер холодный-холодный над морем подул».

Помню ещё короткую молитву и псалом, которым она меня научила.

Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня осталось лишь бледное, смутное воспоминание. Только одну из них я помню так хорошо, что могла бы пересказать её и сейчас. Это маленькая легенда о Рождестве Христовом.

Вот почти всё, что я могу припомнить о своей бабушке, кроме того, что я помню лучше всего, — ощущение великой утраты, когда она покинула нас.

Я помню то утро, когда диван в углу оказался пустым, и было невозможно представить, когда же кончится этот день. Этого я не забуду никогда.

И помню я, как нас, детей, подвели к усопшей, чтоб мы простились с ней и поцеловали её руку. Мы боялись целовать покойницу, но кто-то сказал нам, что ведь это последний раз, когда мы можем поблагодарить бабушку за все радости, которые она нам доставляла.

И я помню, как сказки и песни вместе с бабушкой уехали из нашего дома, уложенные в длинный чёрный ящик, и никогда больше не возвращались.

Что-то ушло тогда из жизни. Точно навсегда заперли дверь в широкий, прекрасный, волшебный

мир, в котором мы прежде свободно бродили. И никого не нашлось, кто сумел бы отпереть эту дверь.

Мы постепенно научились играть в куклы и игрушки и жить так, как все другие дети, и могло показаться, что мы больше не тоскуем о бабушке и не вспоминаем о ней.

Но даже и в эту минуту, спустя много лет, когда я сижу и вспоминаю все слышанные мною легенды о Христе, в моей памяти встаёт сказание о Рождестве Христовом, которое любила рассказывать бабушка. И теперь мне хочется самой рассказать его, включив в мой сборник.

Это было в Рождественский сочельник, когда все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Мы были, кажется, одни во всём доме. Нас не взяли, потому что одна из нас была слишком мала, другая слишком стара. И обе мы горевали о том, что не можем побывать на торжественной службе и увидеть сияние рождественских свечей.

И когда мы сидели с ней в одиночестве, бабушка начала свой рассказ:

— Когда-то в глухую, тёмную ночь один человек вышел на улицу, чтобы раздобыть огня. Он переходил от хижины к хижине, стучась в двери, и просил: «Помогите мне, добрые люди!

Моя жена только что родила ребёнка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть её и младенца».

Но была глубокая ночь, и все люди спали. Никто не откликался на его просьбу.

Человек шёл всё дальше и дальше. Наконец он заметил вдали мерцающее пламя. Он направился к нему и увидел, что это костёр, разведённый в поле. Множество белых овец спало вокруг костра, а старый пастух сидел и стерёг своё стадо.

Когда человек приблизился к овцам, он увидел, что у ног пастуха лежат и дремлют три собаки. При его приближении все три проснулись и оскалили свои широкие пасти, точно собираясь залаять, но не издали ни единого звука. Он видел, как шерсть дыбом поднялась у них на спине, как их острые белые зубы ослепительно засверкали в свете костра и как все они кинулись на него. Он почувствовал, что одна схватила его за ногу, другая — за руку, третья вцепилась ему в горло. Но крепкие зубы словно бы не повиновались собакам, и, не причинив ему ни малейшего вреда, они отошли в сторону.

Человек хотел пойти дальше. Но овцы лежали, так тесно прижавшись друг к другу, спина к спине, что он не мог пробраться между ними. Тогда он прямо по их спинам пошёл вперёд, к

костру. И ни одна овца не проснулась и не пошевелилась…

До сих пор бабушка вела рассказ не останавливаясь, но тут я не могла удержаться, чтобы её не перебить.

— Отчего же, бабушка, они продолжали спокойно лежать? Ведь они так пугливы? — спросила я.

— Это ты скоро узнаешь, — сказала бабушка и продолжала своё повествование: — Когда человек подошёл достаточно близко к огню, пастух поднял голову. Это был угрюмый старик, грубый и неприветливый со всеми. И когда он увидел, что к нему приближается незнакомец, он схватил длинный остроконечный посох, с которым всегда ходил за стадом, и бросил в него. И посох со свистом полетел прямо в незнакомца, но, не ударив его, отклонился в сторону и пролетел мимо, на другой конец поля.

Когда бабушка дошла до этого места, я снова прервала её:

— Отчего же посох не попал в этого человека?

Но бабушка ничего не ответила мне и продолжала свой рассказ:

— Человек подошёл тогда к пастуху и сказал ему: «Друг, помоги мне, дай мне огня! Моя жена только что родила ребёнка, и мне надо развести

огонь, чтобы согреть её и младенца!».

Старик предпочёл бы ответить отказом, но, когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, овцы не разбежались от него и посох, не задев его, пролетел мимо, ему стало не по себе, и он не посмел отказать ему в просьбе.

«Бери, сколько тебе нужно!» — сказал пастух.

Но костёр уже почти догорел, и вокруг не осталось больше ни поленьев, ни сучьев, лежала только большая куча жару; у незнакомца же не было ни лопаты, ни совка, чтобы взять себе красных угольков.

Увидев это, пастух снова предложил: «Бери, сколько тебе нужно!» — и радовался при мысли, что человек не может унести с собой огня.

Но тот наклонился, выбрал себе горстку углей голыми руками и положил их в полу своей одежды. И угли не обожгли ему рук, когда он брал их, и не прожгли его одежды; он понёс их, словно это были яблоки или орехи…

Тут я в третий раз перебила рассказчицу:

— Бабушка, отчего угольки не обожгли его?

— Потом всё узнаешь, — сказала бабушка и стала рассказывать дальше: — Когда злой и сердитый пастух увидел всё это, он очень удивился: «Что это за ночь такая, в которую собаки кротки,

как овечки, овцы не ведают страха, посох не убивает и огонь не жжёт?» Он окликнул незнакомца и спросил его: «Что это за ночь такая? И отчего все животные и вещи так милостивы к тебе?» — «Я не могу тебе этого объяснить, раз ты сам этого не видишь!» — ответил незнакомец и пошёл своей дорогой, чтобы поскорее развести огонь и согреть свою жену и младенца.

Пастух решил не терять этого человека из виду, пока ему не станет ясно, что всё это значит. Он встал и пошёл следом за ним до самого его обиталища. И пастух увидел, что у незнакомца нет даже хижины для жилья, что жена его и новорождённый младенец лежат в горной пещере, где нет ничего, кроме холодных каменных стен.

Пастух подумал, что бедный невинный младенец может насмерть замерзнуть в этой пещере, и, хотя он был суровым человеком, он растрогался до глубины души и решил помочь малютке. Сняв с плеч свою котомку, он вынул оттуда мягкую белую овчину и отдал её незнакомцу, чтобы тот уложил на неё младенца.

И в тот самый миг, когда оказалось, что и он тоже может быть милосерден, глаза его открылись, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать.

Он увидел, что вокруг него стоят плотным кольцом ангелочки с серебряными крылышками. И каждый из них держит в руках арфу, и все они поют громкими голосами о том, что в эту ночь родился Спаситель, который искупит мир от греха.

Тогда пастух понял, почему всё в природе так радовалось в эту ночь, и никто не мог причинить зла отцу ребёнка.

Оглянувшись, пастух увидел, что ангелы были повсюду. Они сидели в пещере, спускались с горы и летали в поднебесье; они проходили по дороге и, минуя пещеру, останавливались и бросали взоры на младенца. И повсюду царили ликование, радость, пение и веселье…

Всё это пастух увидел среди ночной тьмы, в которой раньше ничего не мог разглядеть. И он, обрадовавшись, что глаза его открылись, упал на колени и стал благодарить Бога… — При этих словах бабушка вздохнула и сказала: — Но то, что видел пастух, мы тоже могли бы увидеть, потому что ангелы летают в поднебесье каждую рождественскую ночь. Если бы мы только умели смотреть!.. — И, положив мне руку на голову, бабушка прибавила: — Запомни это, потому что это такая же правда, как то, что мы видим друг друга. Дело не в свечах и лампадах, не в солнце

и луне, а в том, чтобы иметь очи, которые могли бы видеть величие Господа!

Ги де Мопассан

Рождественское чудо

Доктор Бонанфан стал рыться в своей памяти, повторяя вполголоса:

— Рождественский рассказ?.. Рождественский рассказ?..

И вдруг воскликнул:

— Ну, да! У меня есть одно воспоминание и даже очень необыкновенное. Это фантастическая история. Я видел чудо. Да, сударыни, чудо в рождественскую ночь.

Вас удивляет, что вы слышите это от меня, человека, ни во что не верующего? И тем не менее я видел чудо! Говорю вам, я его видел, видел собственными глазами, именно видел.

Удивило ли оно меня? Отнюдь нет: если я не верю в ваши догматы, то верю в существование веры и знаю, что она движет горами. Я мог бы привести много примеров. Но я боюсь возбудить в вас негодование и ослабить эффект моего рассказа.

Прежде всего признаюсь, что если я и не был переубеждён всем виденным, то, во всяком случае, был очень взволнован, и я постараюсь бесхитростно передать вам всё это с наивной

доверчивостью овернца.

Я был тогда деревенским врачом и жил в местечке Рольвиль, в глуши Нормандии.

Зима в том году была лютая. С конца ноября после недели морозов выпал снег. Уже издалека виднелись тяжёлые тучи, надвигавшиеся с севера, затем начали падать густые белые хлопья.

За одну ночь вся долина покрылась белым саваном.

Одинокие фермы, стоявшие среди квадратных дворов, за завесой больших деревьев, опушённых инеем, казалось, уснули под этим плотным и лёгким покрывалом.

Ни один звук не нарушал тишины деревни. Только вороньи стаи чертили длинные узоры по небу в напрасных поисках корма и, опускаясь тучей на мёртвые поля, клевали снег своими большими клювами.

Ничего не было слышно, кроме мягкого и непрерывного шороха мёрзлой пыли, продолжавшей сыпаться без конца.

Так длилось всю неделю, потом снегопад прекратился. Землю окутывал покров в пять футов толщиною.

В последующие три недели небо, днем ясное, как голубой хрусталь, а ночью все усыпанное

звездами, словно инеем на холодной суровой глади, простиралось над ровной пеленой твёрдого и блестящего снега.

Долина, изгороди, вязы за оградой — всё, казалось, было мертво, убито стужей. Ни люди, ни животные не показывались на улицу; одни только трубы, торчащие из хижин в белых сугробах, свидетельствовали о скрытой жизни тоненькими, прямыми струйками дыма, поднимавшегося в ледяном воздухе.

Время от времени слышался треск деревьев, как будто их деревянные руки ломались под корою: толстая ветка отделялась иногда и падала, потому что холод замораживал древесные соки и разрывал заледеневшие волокна.

Жилища, разбросанные там и сям среди полей, казались отделенными друг от друга на сто лье. Жили как придётся. Один только я пытался навещать моих ближайших больных, беспрестанно рискуя быть погребенным в какой-нибудь яме.

Вскоре я заметил, что вся округа охвачена таинственным страхом. Толковали, что такое бедствие не может быть явлением естественным. Уверяли, что по ночам слышатся голоса, резкий свист, чьи-то крики.

Эти крики и свист, несомненно, издавали стаи

птиц, перелетавшие в сумерки на юг. Но попробуйте переубедить обезумевших людей. Ужас охватил души, и все ждали какого-то необыкновенного события.

Кузница дядюшки Ватинеля стояла в конце деревушки Эпиван, на большой дороге, в те дни заметенной снегом и пустынной. И вот когда у рабочих вышел весь хлеб, кузнец решил сходить в деревню. Несколько часов он провёл в разговорах, навестив с полдюжины домов, составлявших местный центр, достал хлеба, наслушался новостей и заразился страхом, царившим в деревне.

Ещё до наступления темноты он отправился домой.

Проходя вдоль какого-то забора, он вдруг заметил на снегу яйцо, да, несомненно, яйцо, белое, как всё кругом. Он наклонился: действительно яйцо. Откуда оно? Какая курица могла выйти из курятника и снестись в этом месте? Удивлённый кузнец ничего не понимал. Однако он взял яйцо и принёс его жене.

— Эй, хозяйка, я принёс тебе яйцо. Нашёл его на дороге.

Жена покачала головой…

— Яйцо на дороге? В этакую погоду! Да ты, видно, пьян.

— Да нет же, хозяйка, оно лежало у забора и было ещё тёплое, не замёрзло. Вот оно, я положил его за пазуху, чтоб оно не стыло. Съешь его за обедом.

Яйцо опустили в котёл, где варился суп, а кузнец принялся пересказывать то, о чём толковали в деревне.

Жена слушала, побледнев.

— Ей-богу, прошлой ночью я слышала свист: мне даже казалось, что он шёл из трубы.

Сели за стол. Сначала поели супу, потом, в то время как муж намазывал на хлеб масло, жена взяла яйцо и подозрительно осмотрела его.

— А если в этом яйце что-нибудь есть?

— Что же, по-твоему, может там быть?

— Почём я знаю!

— Будет тебе… Ешь и не дури.

Она разбила яйцо. Оно было самое обыкновенное и очень свежее.

Она стала нерешительно есть его, то откусывая кусочек, то оставляя, то опять принимаясь за него. Муж спросил:

— Ну, что, каково оно на вкус?

Она не ответила и, проглотив остатки яйца, вдруг уставилась на мужа пристальным, угрюмым и безумным взглядом: закинув руки, она

сжала их в кулаки и упала наземь, извиваясь в конвульсиях и испуская страшные крики.

Всю ночь она билась в страшном припадке, сотрясаемая смертельной дрожью, обезображенная отвратительными судорогами. Кузнец, не в силах справиться с ней, принужден был её связать.

Ни на минуту не умолкая, она вопила диким голосом:

— Он у меня в животе!.. Он у меня в животе!..

Меня позвали на следующий день. Я перепробовал без всякого результата все успокаивающие средства. Женщина потеряла рассудок.

С невероятной быстротой, несмотря на непроходимые сугробы, по всем фермам разнеслась новость, удивительная новость:

— В жену кузнеца вселился бес!

Отовсюду приходили любопытные, не решаясь, однако, войти в дом. Они слушали издали её ужасные крики: трудно было поверить, что этот громкий вой принадлежит человеческому существу.

Дали знать деревенскому священнику. Это был старый, простодушный аббат. Он прибежал в стихаре, как для напутствия умирающему, и, протянув руки, произнёс заклинательную формулу, пока четверо мужчин держали корчившуюся на

кровати и брызгавшую пеной женщину.

Но беса так и не изгнали.

Наступило Рождество, а погода стояла всё такая же.

Накануне утром ко мне явился кюре.

— Я хочу, — сказал он, — чтоб эта несчастная присутствовала сегодня на вечернем богослужении. Быть может, Господь сотворит для неё чудо в тот самый час, когда сам родился от женщины.

Я ответил ему:

— Вполне вас одобряю, господин аббат. Если на неё подействует богослужение — а это лучшее средство растрогать её, — она может исцелиться и без лекарств.

Старый священник пробормотал:

— Вы, доктор, человек неверующий, но вы поможете мне, не правда ли? Вы возьмётесь доставить её?

Я обещал ему свою помощь.

Наступил вечер, затем ночь. Зазвонил церковный колокол, роняя грустный звон в мёртвое пространство, на белую и мёрзлую снежную гладь.

Послушные медному зову, медленно потянулись группы чёрных фигур. Полная луна озарила ярким и бледным светом горизонт, ещё больше

подчёркивая унылую белизну полей.

Я взял четырёх сильных мужчин и отправился к кузнецу.

Одержимая по-прежнему выла, привязанная к кровати. Несмотря на дикое сопротивление, её тщательно одели и понесли.

Церковь, холодная, но освещённая, была теперь полна народу; певчие тянули однообразный мотив; орган хрипел; маленький колокольчик в руках служки позванивал, управляя движениями верующих.

Женщину с её сторожами я запер в кухне церковного дома и стал выжидать благоприятной, по моему мнению, минуты.

Я выбрал момент вслед за причастием. Все крестьяне, мужчины и женщины, причастившись, приобщились к своему Богу, чтобы смягчить его суровость. Пока священник совершал таинство, в церкви царила глубокая тишина.

По моему приказанию дверь отворилась, и мои четыре помощника внесли сумасшедшую.

Как только она увидела свет, коленопреклонённую толпу, освещённые хоры и золотой ковчег, она забилась с такой силой, что чуть не вырвалась из наших рук, и стала так пронзительно кричать, что трепет ужаса пронёсся по церкви. Все головы

поднялись, многие из молящихся убежали.

Она потеряла человеческий облик, корчилась и извивалась в наших руках, с искажённым лицом и безумными глазами.

Её протащили до ступенек клироса и с силой пригнули к полу.

Священник стоял и ждал. Когда её усадили, он взял дароносицу, на дне которой лежала белая облатка, и, сделав несколько шагов, поднял её обеими руками над головой бесноватой, так чтобы она могла видеть её…

Она всё ещё выла, устремив пристальный взгляд на блестящий предмет.

Аббат продолжал стоять так неподвижно, что его можно было принять за статую.

Это тянулось долго-долго.

Женщину, казалось, охватил страх: она, как заворожённая, не отрываясь смотрела на чашу, всё ещё временами сотрясаясь страшной дрожью, и продолжала кричать, но уже не таким душераздирающим голосом.

И это тоже тянулось долго.

Казалось, она не могла отвести взгляд от дароносицы и уже только стонала, её напряжённое тело ослабело и поникло.

Вся толпа пала ниц.

Теперь одержимая то быстро опускала веки, то снова поднимала их, точно не в силах была вынести зрелища своего Бога. Она уже не кричала. Вскоре я заметил, что она закрыла глаза. Она спала сном сомнамбулы, загипнотизированная — простите, умиротворённая — пристальным созерцанием блестевшей золотом чаши, сражённая Христом-победителем.

Её унесли обессилевшую, и священник вернулся в алтарь.

Потрясённые свидетели грянули «Te deum» во славу милости господней.

Жена кузнеца проспала сорок часов подряд, потом проснулась, ничего не помня ни о болезни, ни об исцелении.

Вот, сударыни, виденное мною чудо.

Доктор Бонанфан умолк, потом с досадой прибавил:

— Я принуждён был засвидетельствовать чудо в письменной форме.

Жан-Жак Порша

Три месяца в снегу
Предисловие

Прочтя заглавие этого рассказа, наши читатели могут принять его за маловероятную выдумку. А между тем это истинное происшествие, которое не покажется нисколько невероятным людям, знакомым с условиями жизни в горах и слыхавшим о случайностях, которым подвергаются горцы.

Прежде чем приступить к самому рассказу, мы скажем несколько слов о месте действия его — Юрских горах — и о жизни обитателей этих гор, полной труда и лишений.

Юра представляет собою ряд горных цепей, тянущихся почти через всю Швейцарию с северо-востока на юго-запад. В Юрских горах встречается немало долин и высоких вершин. Чем выше горы, тем холоднее на них, тем короче лето, тем скуднее растительность, тем обильнее и непроходимее снега, выпадающие зимой, и, следовательно, тем менее они обитаемы. С наступлением лета все горы Юрской цепи освобождаются от снежного покрова, и даже на самых высоких

вершинах её всё же пробивается хоть скудная растительность; великолепные леса, на склонах гор, одеваются свежей зеленью, обширные пастбища покрываются ковром молодой, сочной травы, и многочисленные стада быков, коров и коз пасутся на них. Но только в продолжение пяти месяцев — от мая до октября — можно жить на этих чудных горах, в остальное время года они покрыты непроходимыми снегами.

Как только весеннее солнце растопит снега в горах и оденет вершины свежей зеленью, обитатели деревушек, расположенных в долинах или на нижних склонах гор, отправляют свои стада в горы. Этот день — праздник для всей деревни, несмотря на то что пастухи обрекают себя в течение долгих месяцев на разлуку с родной семьёй и на жизнь, полную трудов и лишений. Им предстоит провести всё лето на вершинах гор со своими стадами, питаться почти исключительно молоком и сыром, который они приготовляют на продажу, ничего не пить, кроме ключевой воды.

Живут они в маленьких хижинах, состоящих из 3 отделений: хлева для скота, молочной для выделки сыра и кухни, служащей пастуху вместе с тем для ночлега. На крышу хижины горцы обыкновенно накладывают камни; они придавливают

её своей тяжестью и служат защитой против бурь, которые, нередко с невероятною силой разражаясь в горах, легко могут сорвать крышу с пастушьей хижины. Пастухи проводят всё лето в полном одиночестве. Изредка только в горы заходят путешественники, и горцы с удовольствием делятся с ними молоком и сыром, получая взамен свежий хлеб — редкое лакомство для них.

С наступлением осени пастухи уходят с гор со своими стадами и возвращаются в деревню. Здесь их ищут другие работы: в течение зимы они изготовляют домашнюю утварь, мебель и искусно вырезывают из дерева всевозможные вещицы.

Обречённые вести однообразную, замкнутую жизнь, швейцарские горцы всё же не жалуются на свою судьбу; они остаются верными привычкам своих отцов и страстно привязаны к родным горам. Снега, в изобилии выпадающие зимою в горных деревнях, нередко лишают детей возможности добраться до школы. Тогда они продолжают своё ученье дома; собравшись вокруг родителей, занятых своей работой, они читают вслух и, развлекая взрослых, сами не отстают от занятий.

Узнавши это, наши читатели поймут, что герой нашего рассказа, деревенский мальчик, забро-

шенный стечением обстоятельств на долгие месяцы в уединённую горную хижину, мог изо дня в день записывать в дневник всё то, что ему пришлось испытать во время своего заточения. Этот бесхитростный, правдивый рассказ, написанный самим героем, мы и предлагаем нашим читателям.

Дневник юноши

22 ноября 18…

Так как Богу угодно, чтобы мы с дедушкой были заключены в этой хижине надолго, то я буду записывать всю нашу жизнь здесь изо дня в день. Если нам суждено умереть, наши родные и друзья узнают из этих записок о наших последних днях, если же мы спасёмся, то они будут служить нам воспоминанием о наших страданиях. Дедушка посоветовал мне заняться этой работой, чтобы скоротать долгие дни заключения. Я начну с того, что случилось с нами вчера.

Мы уже несколько недель ждали нашего отца с гор. Все пастухи спустились со своими стадами, а отца всё ещё не было. Никто не знал, что могло задержать его там. Дяди и тётки уверяли, что беспокоиться нечего: по всей вероятности, в горах

ещё есть корм для коров, и потому отец остался несколько дольше обыкновенного.

Несмотря на это, дедушка тревожился.

— Я пойду и узнаю сам, почему запоздал Франсуа, — сказал он. — Я не прочь ещё раз повидать хижину… Может быть, мне не придётся увидеть её в будущем году! Хочешь идти со мной? — прибавил он, обращаясь ко мне.

Я только что хотел просить его взять меня с собой; мы с ним очень редко расставались.

Скоро мы были уже в пути. Медленно поднимались мы, то проходя через узкие ущелья, то карабкаясь над глубокими пропастями. Когда мы были за четверть мили от хижины, я приблизился из любопытства к крутому обрыву. Дедушка подбежал, чтобы удержать меня за руку, и оступился о камень, который подкатился ему под ноги. Тотчас же он почувствовал сильную боль в ноге; она, впрочем, через несколько минут стихла, так что он мог идти, с помощью палки и опираясь на моё плечо.

Отец был очень удивлён, увидя нас.

Он уже собирался возвращаться домой, и если бы мы потерпели ещё только один день, то дождались бы его.

— Батюшка, — сказал он, идя к нам на встре-

чу, — вы, верно, думали, что со мной случилось какое-нибудь несчастие?

— Да, мы пришли узнать, почему ты не идёшь домой, ведь все соседи уже вернулись.

— У меня заболели коровы и только теперь выздоровели. Сегодня вечером я хотел послать Пьера с остатками сыра, а завтра собирался идти сам со стадом.

— Ты очень устал, Луи? — спросил меня дедушка. — Я думаю, — прибавил он, обращаясь к отцу, — что было бы лучше отправить мальчика сегодня с Пьером. Ветер переменился, и я боюсь, что ночью будет дурная погода.

— Я бы хотел остаться, — сказал я, обнимая отца, — дедушке необходимо отдохнуть хоть ночь; он ушиб себе ногу по моей неосторожности.

Отец уступил моим просьбам, и было решено остаться до понедельника.

Пока мы так разговаривали, на огне варилась похлёбка из кукурузы, на которую я посматривал с нетерпением. С удовольствием поел я горячей похлёбки и молочной каши и спокойно лёг спать.

Утром я был очень удивлён, увидя, что гора стала совершенно белою. Снег всё ещё шёл, подгоняемый сильным ветром. Сначала мне это

очень понравилось, но потом я заметил, что отец и дедушка что-то расстроены, и тоже стал беспокоиться, тем более что нога дедушки сильно разболелась, и он совсем не мог ступать на неё.

— Иди, иди скорее, — торопил он отца, — иди, пока снегу не выпало ещё больше. Видишь сам, что я не могу идти с вами.

— Но как же я брошу вас здесь, батюшка? — возражал отец.

— Позаботься о сыне и о стаде, потом будешь думать обо мне. Ты можешь прийти за мною с носилками.

— Но я могу донести вас на плечах, — говорил отец.

— Невозможно нести меня и смотреть в то же время за ребёнком и за стадом.

Я уверял, что уже достаточно велик, что не нуждаюсь в надзоре и что я помогу отцу проводить стадо. Все наши уговоры были бесполезны, дедушка оставался при своём решении: он боялся стеснить и задержать нас в пути. Так провели мы часть дня, не решаясь идти и отчасти поджидая, что придёт помощь из дома. Но никто не шёл. Снег усиливался. Отец был в отчаянии; я плакал. Наконец, я решился сказать отцу:

— Оставь меня в хижине с дедушкой. Без нас

ты придёшь скорее домой и потом вернёшься за нами с народом. Дедушка всё-таки будет не один. Мы будем заботиться друг о друге, а Бог позаботится о нас обоих.

— Луи прав, — сказал дедушка, — снег и ветер так усиливаются, что для него, пожалуй, опаснее идти, чем оставаться здесь. Иди, Франсуа, возьми с собой мою палку, она крепкая и с железным наконечником, она поможет тебе спускаться, так же как помогала мне подниматься. Выгоняй коров, оставь нам только козу и провизию. Я больше беспокоюсь за тебя, чем за нас.

Отец сидел несколько минут молча, опустивши голову, потом встал, быстро обнял меня и сказал со слезами на глазах:

— Я не хочу упрекать тебя, Луи, но ты сам видишь, к чему повела твоя неосторожность. Теперь уж, конечно, ничего не поделаешь. Если бы мы могли предполагать вчера, что будем в таком затруднении, мы не отпустили бы Пьера, и он мог бы помочь дедушке.

Когда отец уходил, я отдал ему мою маленькую бутылочку с вином, которую мне подарила покойная мать, когда я в первый раз пошёл к нему в горы. Он обнял меня, и мы стали выгонять стадо. Через несколько минут они скрылись из глаз, и

вокруг ничего не стало видно, кроме крупных белых хлопьев снега.

Дедушка молча сидел у окна и не отрываясь смотрел вслед отцу. Губы его тихо шевелились, руки были сложены. Я понял, что он молился об отце. Так сидели мы долгое время. А ветер рвал и метал всё с большей яростью, большие чёрные облака низко спустились над нами, и стало так темно, как будто наступила внезапно ночь. А между тем на наших деревянных часах пробило только три часа.

Несмотря на тревогу и беспокойство, я был страшно голоден, так как ничего не ел целый день. В это время заблеяла наша коза.

— Бедная Белянка, — сказал дедушка, — она просит, чтобы её подоили. Зажги лампу, подоим её и поужинаем. Теперь отец уже, вероятно, близко к дому и только беспокоится о нас.

При свете лампы я заметил, что лицо дедушки стало спокойнее, и у меня на душе тоже стало веселее. А ветер всё усиливался, балки под крышей скрипели, и мне беспрестанно казалось, что снесёт крышу с хижины.

— Не бойся, — сказал дедушка, заметив моё беспокойство, — этот дом выдержал не одну бурю. Крыша укреплена слишком хорошо, чтобы не

устоять против такого ветра.

Затем мы пошли в хлев. Белянка, увидев нас, заблеяла ещё сильнее и чуть не оборвала свою верёвку, чтобы подойти к нам. С удовольствием слизала она с моей ладони всю соль до последней крупинки и дала нам большой горшок молока на ужин.

Возвратясь в кухню, дедушка сказал:

— Нам нужно очень беречь нашу Белянку. От неё зависит наша жизнь.

— Разве вы думаете, что мы долго здесь останемся? — спросил я.

— Неизвестно, но, может быть, и долго. Будем надеяться на лучшее.

После ужина я пошёл к нашей кормилице, чтобы дать ей свежего сена на ночь. Я приласкал её с большей нежностью, чем обыкновенно, и мне казалось, что она тоже больше обрадовалась моему приходу, чем прежде. Ведь она, бедняжечка, тоже осталась совсем одна в хлеву! Когда я уходил, она проводила меня жалобным блеянием.

Мы сидели в кухне у огня, но нам совсем не было так хорошо и уютно, как в нашем домике в долине. Очаг был очень велик, и отверстие на крышу было такое широкое, что ветер забирался туда, задувал огонь и завывал так сильно, что

неприятно было слышать. Порой он наносил даже целые хлопья снегу в комнату.

— Нам не будет здесь так тепло, как дома, Луи, — сказал дедушка. — Будем утешать себя тем, что до нашей постели снег не доберётся, а завтра мы постараемся что-нибудь сделать, чтобы он не падал и в очаг. Бог с нами здесь так же, как и в долине.

Было совершенно темно, когда я проснулся. Дедушка тихо ходил по комнате.

— Что же вы не спите, дедушка? — спросил я.

— Если мы будем дожидаться света, голубчик, то нам придётся спать очень долго. Должно быть, снег завалил окно.

Я вскрикнул от ужаса и быстро вскочил с постели. Когда мы зажгли лампу, то убедились, что дедушка был прав. Окно было действительно занесено снегом.

— Окно очень низко, — сказал дедушка, — может быть, снег не засыпал ещё крышу нашей хижины.

— Так нас ещё могут спасти?

— Вероятно. Во всяком случае, осмотрим наши запасы и попробуем чем-нибудь заняться. День уже наступил, кукушка (часы) прокричала семь раз. Хорошо, что я завел её вчера, всё-таки

веселее, когда знаешь время, и, кроме того, нам нужно аккуратно доить Белянку.

Вот как грустно начался первый день нашего заключения! Однако я устал и не могу больше держать перо в руке. Дедушка советует отложить продолжение моего рассказа до завтра.

23 ноября.

Мне будет довольно трудно писать историю каждого дня. В школе меня часто хвалили за лёгкость и быстроту, с которой я писал наши маленькие школьные сочинения, но это вовсе не значит, что мне легко описывать всё, что я думаю и чувствую. Конечно, я буду стараться. Если эти записки попадут в руки чужих людей, то они должны помнить, что нашли это в бедной хижине и что это работа школьника.

Вчера утром нам стало очень грустно, когда мы узнали, что заключены ещё крепче, чем накануне, но всё-таки мы позаботились о завтраке и о козе. Дедушка стал доить её, а я внимательно присматривался к каждому его движению.

— Ты хорошо делаешь, Луи, — сказал дедушка, — что учишься доить Белянку; мне очень трудно наклоняться, и тебе придётся меня заменять.

После завтрака мы стали осматривать наше

имущество в хижине. В другой раз я подробно опишу его, теперь же мне ещё очень много нужно сказать, и я боюсь устать и не кончить, как вчера. После осмотра провизии и посуды нам захотелось узнать, какая погода. Я взлез на очаг и заглянул в единственное отверстие нашей хижины. Солнце ярко освещало снег, лежавший вокруг отверстия на крыше. Я сообщил это дедушке.

— Если бы у нас была лестница, — сказал он, — ты мог бы подняться через трубу на крышу и достать затворку, про которую мне говорил Франсуа. Он сделал её, чтобы закрывать отверстие в трубе во время дождя и снега.

— Если бы труба не была так широка, — ответил я, — я влез бы и без лестницы, как влезают трубочисты.

Подумав немного, дедушка вспомнил, что в хлеву есть длинный сосновый шест, по которому я могу вскарабкаться вверх. Я даже захлопал в ладоши от радости.

Но, принеся шест в кухню, мы увидели, что с ним не легко справиться. Он был очень длинен, и нам долго не удавалось провести его через очаг в трубу. Поставив, наконец, шест в трубу, я привязал к поясу верёвку и лопату и полез вверх, цепляясь руками и ногами. Через минуту я уже

был на крыше. Прежде всего мне нужно было отгрести снег лопатой, чтобы освободить себе хоть маленькое место. Хижина наша была почти совсем занесена снегом, на крыше он лежал фута на три. Кругом было всё бело, только на горизонте чернели верхушки сосен в лесу. Как раз в эту минуту порыв ветра разорвал чёрные тучи, и солнце вдруг облило всё ярким, ослепительным блеском. Мне было очень холодно. Отгребая снег на крыше, я нашёл затворку для трубы и укрепил её, привязав верёвку к блоку, чтобы мы могли открывать и закрывать её, по мере надобности. Эта работа меня согрела. Спустившись вниз, я попробовал затворку, дёргая за верёвку, проведённую через очаг в кухню, — она открывалась и закрывалась свободно. Платье моё всё перепачкалось в саже, но у меня не было другого, и вымыть его было негде. Мы затопили камин и опустили затворку, оставив только необходимое отверстие для дыма. Так сидели мы у огня, не зажигая лампы, чтобы экономить масло, которого у нас было очень немного. Это последнее обстоятельство заставляло нас оставаться большую часть дня в темноте, отчего день казался ещё томительнее и длиннее. Впрочем, может быть, мне было особенно тяжело вследствие того, что я находился в постоянном

ожидании, что нас придут спасать. Дедушка говорил, что, наверное, отец благополучно пришёл домой, но потом дороги так занесло снегом, что ему не было возможности прийти за нами.

Огонь в камине догорел, мы закрыли наглухо затворку и легли спать, с надеждой, что завтра, может быть, за нами придут. Но утром эта надежда исчезла. Снег, должно быть, не переставая шёл всю ночь, так как мы с трудом отворили нашу затворку. Дедушка говорит, что нужно приучать себя к мысли, что мы останемся в нашей темнице до весны. Как-то дошёл отец домой? Как он, вероятно, мучается за нас, если он жив!

Прошедшей весной я провёл у него здесь несколько дней и принёс с собой бумагу, перья и чернила, так как он не хотел, чтобы я бросал свои занятия, когда не ходил в школу. Уходя домой, я хотел взять всё это с собой обратно, но он посоветовал мне спрятать здесь в шкафу, чтобы не приносить в другой раз. И вот теперь мне так пригодился этот маленький запас.

24 ноября.

Я весь дрожу от ужаса при мысли о том несчастии, которое едва не случилось с нами! Погребены под снегом и чуть не погибли от пожара! Это новая опасность, о которой мы прежде не

думали и от которой должны себя оберегать. Мы сидели у огня и, чтобы скоротать время, занялись с дедушкой арифметикой, причём я делал свои вычисления на золе. Огонь на очаге уже догорал, и я торопился кончить свои маленькие задачки при его скудном освещении. В это время я почувствовал, что меня обдало жаром из того угла, где у нас лежала связка соломы, приготовленная для разных работ. Она была положена слишком близко к огню и загорелась. Я хотел потушить её, но только обжёг себе руки. Дедушка поспешно схватил всю пылающую охапку и бросил её на очаг.

— Убирай как можно дальше всё, что может загореться, — закричал он мне.

Пока я исполнял его приказание, пламя разгоралось всё сильнее и сильнее.

Он придерживал горящую солому кочергой, чтобы она не разлеталась и не падала на пол. Какие ужасные минуты мы переживали! Искры от сухой соломы могли разлететься всюду, попасть на постель в углу или на загородку, отделяющую нас от хлева, или на деревянные балки на потолке… Быстро, в одну минуту сгорела солома, но мне казалось, что этой минуте не будет конца! Со страхом, поспешно затушили мы все оставшиеся искорки на очаге и вдруг очутились в полнейшей

темноте, всё ещё опасаясь, что где-нибудь снова вспыхнет залетевшая искра. Мало-помалу дым вышел в трубу, мы зажгли лампу и увидели, что черны, как трубочисты. Слава Богу, наша хижина уцелела и мы были спасены, отделавшись лёгкими ожогами на руках и ногах.

Приведя в порядок комнату, мы начали рассуждать с дедушкой о том, как предохранить себя на будущее время от такой страшной опасности.

— Прежде всего, — сказал дедушка, — у нас нет ни капли воды, и мы до сих пор об этом не подумали. В сыроварне стоит пустая бочка. Выбьем с одной стороны дно и набьем её снегом; он скоро растает, и у нас будет запас воды.

Не долго думая, мы прикатили бочку и принялись за работу. Скоро дно было выбито, бочка поставлена у двери, оставалось отворить дверь, чтобы достать снегу. Чего другого, а снегу у нас было вдоволь.

Сердце сжалось у меня, когда я, отворив дверь, увидел высокую белую стену, отделявшую нас от всего мира!

25 ноября.

Снег идёт и идёт, без конца. Всё труднее и труднее открывать затворку в трубе. Я вылезаю на крышу и сгребаю с неё снег, оставляя небольшой

слой, чтобы защитить нас от холода. Эта работа служит мне большим развлечением — приятно выйти хоть ненадолго из нашей темницы, несмотря на то что кругом тоже невесело. Ничего, кроме необозримого белого поля и чёрного неба; даже верхушки сосен, которые я ещё недавно видел на горизонте, исчезли под массой снега.

Когда я был в школе, мне приходилось читать о путешествиях по Ледовитому океану или в полярных странах, и мне кажется теперь, что мы такие же путешественники.

Но ведь большая часть несчастных путешественников, страдавших от холода, спасались от больших опасностей и возвращались, в конце концов, на родину. Может быть, и мы ещё увидим отца и родную деревню.

Осматривая нашу хижину, мы нашли кое-какие запасы, которые нас весьма порадовали. Так, например, сена и соломы хватит для нашей Белянки на целый год. Нам нужно очень заботиться о ней, чтобы она не перестала давать молоко, наше единственное питание. Нашли мы ещё картофель, который спрятали в солому, чтобы он не замерз. Дров было тоже порядочно сложено в хлеву, но всё-таки их может не хватить на длинную зиму, потому мы начали экономить и дрова, за-

меняя их иногда сосновыми шишками, которых я набрал очень много ещё весной. У нас не холодно — снег хорошо защищает нас от холода и ветра; немало помогает в этом отношении и затворка на трубе. Из утвари многое было уже унесено в деревню. Особенно жалели мы о большом котле, в котором делали сыр. У нас осталось несколько кухонных принадлежностей и, кроме того, топор, старый и весь зазубренный, да такая же старая пила. У нас обоих есть ещё карманные ножи.

Из съестных припасов нам не хватало главного — хлеба, мы нашли его очень немного, и он оказался совершенно засохший. В старом стенном шкафу мы нашли соль, немного молотого кофе, масла и свиного сала.

— Вот это кстати, — сказал я, увидев сало.

— Да, — ответил дедушка, — но только мы его не будем употреблять для кушанья, а лучше побережём для лампы, когда у нас выйдет масло. Ведь тебе приятнее будет поесть похуже, но иметь огонь, чем сидеть в темноте?

— Конечно, — воскликнул я, — особенно когда сидишь в потёмках с утра до вечера.

Постель у нас одна, но она очень широкая, и мы прекрасно помещаемся на ней вдвоём. На ней нет ничего, кроме соломенного тюфяка и одея-

ла. Я бы желал более удобной и мягкой постели для моего бедного, старого дедушки. Мне же не раз приходилось спать крепким сном на голой земле и на сеновале. И теперь я жалею только об одном, что не могу, как сурок, проспать всю зиму и проснуться только весной.

26 ноября.

Мне удалось найти ещё несколько полезных вещей для нашего хозяйства, но важнее всего была моя последняя находка, доставившая нам живейшую радость.

Шаря по всем углам старого шкафа, я втайне надеялся найти здесь какую-нибудь книгу религиозного содержания, потому что знал, что отец брал с собой такие книги для чтения с работниками в свободное время. Но, должно быть, он унес их домой, и я уже с грустью хотел бросить поиски, когда вдруг случайно поднял доску в стене шкафа, и из-под неё выпала старая запыленная книга, очевидно, лежавшая тут уже несколько лет.

Это было «Подражание Христу».

Прочтя заглавие, дедушка воскликнул:

— Лучший друг посещает нас в заключении! Дитя моё, эта книга для несчастных, она учит нас, что самое большое несчастие — забыть Бога и самое высшее благо — любить Его. Ты видишь, Луи,

что мы не совсем покинуты. Раньше мы нашли многое для поддержания нашего тела, теперь у нас есть пища для души.

За несколько дней нашего заключения дедушка научил меня молиться.

27 ноября.

А снег всё не перестает идти.

Даже в горах редко бывает такая снежная погода, как этот год. Меня всё-таки удивляет, что отец не пришёл к нам на помощь. Я всё время думаю и говорю об этом. До сих пор дедушка только успокаивал меня, но сегодняшний разговор показал мне, насколько он сам встревожен.

— Подумайте, — говорил я ему, — ведь снег выпал не сразу настолько, чтобы уничтожить все дороги. Первый, второй и даже третий день можно было ещё добраться до нас.

— Я думаю, — отвечал дедушка, — что твой отец сделал всё, чтобы спасти нас, но, наверное, соседи побоялись пойти с ним, а идти одному в такую погоду бесполезно.

— Неужели вы думаете, что соседи не попытались бы спасти нас и оставили бы здесь до весны, зная, что мы можем погибнуть?

— Конечно, наше положение очень печально, Луи, но всё-таки им известно, что у нас есть убе-

жище и провизия…

— Да, но они также знают, что этой провизии слишком мало на целую зиму и что вы стары и слабы, а я ещё слишком молод, чтобы служить вам поддержкой. Нужно же пожалеть нас.

— Вероятно, они пытались подняться в горы, но увидали, что это невозможно, и остались.

— Однако разве не прокладывают зимой в горах большие дороги для проезда экипажей?

— Это делает правительство для удобства путешественников, и такие дороги стоят очень дорого.

— Как! Для удобства путешественников можно устраивать дороги, а для спасения несчастных погибающих нельзя? По-моему, это очень жестоко.

— Но ведь правительство не знает о том, что мы с тобой здесь и можем погибнуть.

— Отец должен был бы созвать всю деревню на помощь к нам.

Так разговаривали мы с дедушкой, но на мои последние слова он ответил молчанием.

Тогда я взял его за руку и сказал:

— Не скрывайте ничего от меня, дедушка. Разве я не вижу, что вы так же беспокоитесь, как и я, и сами не верите своим словам. Я покорюсь воле Божией так же, как вы, поэтому лучше нам

вместе поговорить о нашем горе, чем скрывать его друг от друга.

— Признаюсь, дитя моё, я всё время думаю, что с твоим отцом случилось какое-нибудь несчастие. Я сам не могу себе представить, чтобы там, в долине, никто о нас не подумал.

Я не мог больше сдерживать своих рыданий. Дедушка молчал, давая мне выплакаться. Огонь постепенно угасал на очаге. Мы сидели почти в темноте. Дедушка держал мою руку и время от времени пожимал её.

— Я сказал тебе о моих опасениях, — заговорил он наконец, — но я не падаю духом. Мы не можем всего знать, всемогущество Божие выше нашего разума. Надейся на Бога и Ему вручи судьбу твоего отца и нашу.

28 ноября.

Если лампа будет гореть двенадцать часов в день, то нашего запаса масла и жира хватит нам только на месяц, мы рассчитали это с возможной точностью. Придётся часа три в день сидеть без огня. В это время мы будем топить очаг, хотя и это удовольствие мы должны позволять себе не слишком часто, — надо беречь дрова. А я так люблю смотреть на яркий огонь на очаге и слушать весёлый треск сухих поленьев. Пока лампа не

горит, мы разговариваем, т. е. больше дедушка мне рассказывает, а я слушаю. Он знает очень много интересного. Вот уже несколько лет, что он не может работать, и почти всё время проводит в чтении.

Иногда мы занимаемся вычислениями в уме — это одно из наших любимых занятий. Дедушка задаёт маленькие задачки и решает их всегда первый. Бывает и так, что, не желая меня огорчать, он притворяется, что не умеет решить задачу, но я всегда вижу его хитрости. Впрочем, я с каждым разом соображаю быстрее и вернее.

29 ноября.

Сегодня день смерти моей матери. Прошло уже четыре года, как я потерял её. В прошлом году этот день приходился в воскресенье. Мы были с отцом в церкви, а оттуда пошли на кладбище и долго стояли у могилы нашего лучшего друга.

Трава ещё не завяла, и несколько маргариток цвели на могиле. Ветер качал их маленькие белые головки, и мне казалось, что они приветствуют нас и благодарят за посещение.

Я мало знал свою мать, но привык говорить о ней с отцом каждый день. Случалось, что он долго смотрел на меня, молча слушая мою болтовню, и потом задумчиво говорил: «как ты похож на

неё, мне кажется иногда, что я слышу её голос и вижу перед собой её глаза». Прежде у меня не было матери, теперь у меня нет и отца. Дедушка понимает, как мне тяжело, и часто по целым часам рассказывает мне о родителях.

Я готов слушать его бесконечно, в темноте, не зажигая лампы и забывая на время томительные часы заключения. Его рассказы навсегда врезываются в моей памяти. Потом я сам вспоминаю о своём детстве, картина за картиной проходят в моём воображении. Я вижу дедушку, сидящего в углу у камина, мать в саду за работой и отца, стоящего на пороге дома. Мало-помалу картины становятся яснее, и я вспоминаю целые сцены из моего детства, а дедушка помогает мне и пополняет пробелы своими воспоминаниями.

30 ноября.

Дедушка изобрёл для меня ещё одну работу, которой я могу заниматься при свете горящих дров. Он выучил меня плести из соломы верёвки и сиденья для стульев.

Я сижу на полу у огня и плету, а он следит за моей работой и подаёт мне солому. Эта работа нам нравится — она не мешает нам разговаривать и вместе с тем занимает руки.

Я рассказываю дедушке разные случаи из моей

школьной жизни, затем мы общими силами припоминаем рассказы и стихотворения, которые нам приходилось читать или слышать. Многие из стихотворений были у меня записаны, но, к сожалению, я потерял тетрадь.

— Попробуй припомнить и записать их снова, — посоветовал мне дедушка.

Я так и сделаю и сегодня же постараюсь записать хоть одно стихотворение.

1 декабря.

Мне стало страшно, когда я написал сегодняшнее число. Если несколько дней ноября показались мне такими длинными, то каким же покажется целый месяц, который сегодня начинается! И если бы ещё один месяц! Я не смею на это рассчитывать. Снегу нападало так много, что, кажется, целого лета будет мало, чтобы он растаял. Он поднимается уже до крыши нашей хижины, и, если бы я не вылезал каждый день и не отгребал бы снег от трубы, нам нельзя было бы топить очаг и отодвигать затворку.

Но бедный дедушка совсем не может выходить из нашей темницы. Сегодня я спросил, что желал бы он больше всего видеть.

— Солнышко, — ответил он, но сейчас же прибавил: — И всё-таки есть люди гораздо более

несчастные, чем мы, и также страдающие без вины, как мы. У нас есть ещё маленькие удовольствия: мы можем затопить очаг, зажечь лампу, у себя здесь мы свободны и знаем, что к нам не придёт тюремщик, который относится к заключённым или жестоко, или безразлично. Кроме того, гораздо легче страдать по воле Бога, чем вследствие людской несправедливости. Мы любим друг друга, и наша дружба смягчает нашу скорбь. У нас, наконец, есть Белянка, которая доставляет нам немало утешения, и, право, я люблю её не только за то, что она даёт нам молоко.

— Бедной Белянке очень скучно, — сказал я, — она всегда одна в тёмном хлеву. Что, если бы мы поместили её здесь, в уголке? Ведь ей не много нужно места. Мне кажется, ей будет приятнее и веселее с нами.

Предложение моё было принято и одобрено дедушкой, и я тотчас же принялся за устройство новой квартиры для Белянки. Я приделал ясли к стене в самом отдалённом углу кухни, положил сена, разостлал на полу солому и привёл Белянку на новоселье. Она осталась очень довольна переменой и выражала свою радость громким и продолжительным блеянием. Конечно, она успокоится, когда привыкнет к своему новому

положению, а то её шумные восторги могли бы нам надоесть. В ту минуту, как я пишу это, она уже несколько успокоилась и легла на свежую солому с довольным и счастливым видом. Очевидно, ей ничего больше не нужно; есть хоть одно существо в хижине, вполне счастливое.

2 декабря.

Мои записки были бы очень интересны, если бы дедушка позволил мне записывать все разговоры с ним, но он находит более полезным, чтобы я делал подробное описание нашей жизни здесь. Сегодня он рассказал мне очень интересную и поучительную басню, и я записал её.

3-е декабря.

Какое ослепительное солнце сегодня! Снег перестал, и наступила ясная, морозная погода. Как блестит громадный белый ковёр, раскинутый кругом! Если бы я мог передать дедушке, как хорошо здесь! Но мне пришла сейчас в голову одна мысль, и я так жалею, что не подумал об этом раньше. Ведь можно разгрести снег около двери нашей хижины и проделать маленькую дорожку. Конечно, это будет не легко, придётся немало работать и залезать в снег почти по пояс, но зато дедушка увидит то, о чём скучает всего больше, —

он увидит солнышко. Я работал целый день и был рад, что дедушка мне это позволил. Теперь я сижу у огня, завёрнутый в одеяло, и пишу мои записки, а платье моё сушится перед очагом.

4 декабря.

Дело идёт вперёд. Оказывается, дедушка давно уже думал об этом, но боялся, что для меня будет утомителен такой труд. Как ему не стыдно! Я чуть не поссорился с ним.

5 декабря.

Мы можем выйти из хижины: дорога готова. Я вывел дедушку, поддерживая его под руку. Но, как нарочно, день был сумрачный, и на душе у нас было невесело. Мы с грустью смотрели на чернеющий вдали лес, на серое облачное небо и на массу снега, окружающего нас. Пролетела большая хищная птица и нарушила мёртвую тишину пронзительным криком. Она летела по направлению к нашей деревне.

— Язычники приняли бы эту птицу за дурное предзнаменование, — сказал дедушка с грустной улыбкой. — Но что может знать птица? Наша судьба в руках Божиих, и от Него будем ждать указаний. Спасибо тебе, Луи, за твой труд и желание доставить мне удовольствие. В следующий

раз, может быть, наша прогулка будет веселее.

Против ожидания, мы вернулись домой в более грустном настроении, чем были до прогулки. Разговор не клеился, и мы замолчали. Не дурная погода была виною нашей грусти, а то, что, выходя из хижины, мы как будто почувствовали себя свободными, и увидели, что мы такие же пленники, как были раньше.

6 декабря.

Одна мысль ведёт за собой другую. На этот раз дедушка заговорил первый, зная, что я приму его предложение с восторгом. Дело в том, что мы можем откопать и окно, чтобы впустить хоть немного свету в нашу комнату. На это потребуется больше времени, потому что сугроб у окна ещё выше, чем у двери; нужно приниматься за дело, не теряя времени. Дедушке я, конечно, не позволю вмешиваться — мне слишком дорого его здоровье. Он уступает моим просьбам, хотя работа доставила бы ему некоторое развлечение.

7 декабря.

Сегодня мне не удалось поработать; опять пошёл снег, и поднялся сильный холодный ветер. Дедушка положительно запретил мне выходить из хижины. Только вечером я вышел ненадолго,

чтобы отгрести от двери снег, выпавший за день. Необходимо следить за этим, а то весь мой труд пропадёт даром.

Теперь уже я настолько выучился доить Белянку, что дедушка не боится доверять мне её. Она чувствует себя прекрасно, и это очень важно для нас, потому что с тех пор, как она перестала скучать, у неё прибавилось молока.

8 декабря.

Погода несколько улучшилась, и я мог опять приняться за дело. Во время работы со мной случилось небольшое несчастие, которое сначала меня только насмешило, но, в сущности, могло повлечь за собой довольно неприятные последствия. Я разбросал уже много снегу, и окно было почти свободно, когда вдруг сверху свалилась на меня довольно большая снежная глыба и покрыла меня с ног до головы. Кое-как, барахтаясь руками и ногами, я освободил голову, но дальше ничего не мог сделать. Мне очень не хотелось пугать дедушку, но, в конце концов, пришлось-таки позвать его на помощь. Совсем перепуганный, вышел он на мой крик и с трудом дотащился до меня. Первую минуту после того, как я был освобождён, он и слышать не хотел о продолжении работы; большого труда мне стоило всё-таки

выхлопотать себе позволение.

9 декабря.

Боже, сжалься над нами! Такого ужасного дня не было ещё за время нашего заключения. До сих пор я ещё не знал, что такое ураган в горах. Трудно себе представить, что происходило за стенами нашей хижины. Невообразимый рёв и гул доносился до нас, страшные порывы ветра потрясали до основания нашу хижину. Мы попробовали выглянуть за дверь, но ничего не увидели, кроме бешено крутящегося снега; потом ветер так рванул дверь, что мы с трудом закрыли её и задвинули задвижку. Пришлось также опустить вплотную затворку на трубу, вследствие чего нам нельзя было затопить очаг, и некоторое время мы сидели в полнейшей темноте. Подоив Белянку и закусивши немного, мы зажгли лампу и прочли несколько страниц из «Подражания Христу». Дедушка старался ободрить меня. В то время, когда я начинал думать о том, что Бог забыл нас, он говорил мне об Его бесконечном милосердии. Его тихий, спокойный голос смешивался с дикими завываниями бури в трубе. Весь день не прекращался ураган; вечером мы легли в постель и покрылись сверх одеяла соломой. Сердце моё всё время сжималось от страха и тоски, наконец,

я не выдержал и расплакался. Дедушка обнял меня, крепко прижал к себе и так держал, пока я не начал понемногу успокаиваться.

Во время одного из сильных порывов ветра раздался вдруг такой треск, что мы оба замерли от испуга. Дедушка опомнился первый.

— Надо зажечь огонь и посмотреть, не случилось ли чего-нибудь у нас, — сказал он.

Осмотрев наше помещение при свете, мы убедились, что никакого повреждения внутри не было. Тогда мы решились выглянуть за дверь. Она была совершенно завалена громадным сугробом снега. Все мои старания пропали. Я не стал роптать, чтобы не огорчать дедушку.

— Могло бы быть и хуже, — сказал он, — такая буря довольно опасна для нашей хижины.

Мы зажгли на очаге сосновые шишки, чтобы вскипятить молоко… Они горели хорошо и распространяли приятный сосновый запах.

Мы немножко согрелись перед сном.

10 декабря.

Ветер как будто стих, но какая погода — неизвестно. Окно и дверь совершенно исчезли под снегом, затворку отодвинуть невозможно. Придётся опять жечь понемногу сосновые шишки, потому что от них почти нет дыма. Как только

позволит погода, я снова примусь за разгребание снега от окна и двери, чтобы впустить хоть немного света.

11 декабря.

Невыносимо холодно. Масса снега, под которым мы погребены, заглушает звуки бури, но холод пронизывает до костей. Белянка сделалась очень нетерпелива, но всё-таки ей лучше здесь, чем было в хлеву. Дедушка уверяет, что только самый сильный холод может проникнуть в нашу хижину, которая очень хорошо построена. Он предполагает, что ветер подул с севера.

13 декабря.

Вчера мы пережили страшный день; ещё сегодня я не могу спокойно писать о том, что было.

И до сих пор мы не знаем, вполне ли освободились от опасности.

Это было утром, в то время как я доил Белянку. Сначала она стояла, как всегда, совершенно спокойно, но вдруг насторожила уши и задрожала всем телом.

— Что с тобой, Беляночка? — спросил я, лаская её.

В ту же минуту раздался страшный вой совсем близко от нас, как будто над самыми нашими головами.

— Волки! — вскричал я в ужасе.

— Тише, постарайся успокоить Белянку, — сказал шепотом дедушка, подойдя к нам.

Вой продолжался всё так же близко.

— Что будет с нами, если волки проберутся к окну или к двери? — проговорил дедушка.

— А вы думаете, что они ещё не пробрались?

— Надеюсь. Но говори тише и старайся успокоить Белянку, она может привлечь их своим блеянием.

Но Белянка, вероятно, знала это лучше нас, потому что не издавала ни одного звука, только продолжала дрожать всем телом.

Я обнял её за шею и крепко прижался к ней, дедушка сел возле нас и положил руку мне на плечо.

Я смотрел на его спокойное, ясное лицо, чтобы самому набраться мужества.

Всё, что я испытал до сих пор, казалось мне ничтожным в сравнении с тем отчаянием, в котором мы пробыли почти весь этот день.

Мы провели его около Белянки, прислушиваясь к неумолкающему вою волков.

Была минута, когда я думал, что уже настал наш последний час: так близко раздался их ужасный рёв.

— Они разгребают снег и сейчас будут здесь, — в ужасе прошептал я, прижимаясь к дедушке.

— Нет, голубчик, я думаю, они не найдут нас. Вероятно, они нашли поблизости какую-нибудь падаль и ссорятся, разрывая её. Обыкновенно в это время года волки уходят с гор в долины, потому что им здесь нечем питаться. Бог даст, они нас только попугают своим воем, да и уйдут. Какое счастье, что они не пришли в то время, когда ты сгребал снег, — тогда дело было бы плохо.

— Долго ли нам ещё жить в таком страхе, — грустно проговорил я, — зима ещё только начинается, холод всё усиливается — мы никогда не выйдем отсюда.

До вечера не прекращался вой.

Мы решились лечь спать, но я долго не мог заснуть от страха.

Ночью волки, вероятно, ушли, но в ушах всё ещё раздаётся их вой. Дедушка говорит, что мне это только кажется. Должно быть, он прав. Белянка совершенно спокойна, она ест и спит по-прежнему. Думаю, что и мне можно успокоиться.

14 декабря.

Итак, я лишён теперь последнего удовольствия и должен безвыходно сидеть в этой темнице. Я не смею даже и подумать о том, чтобы выйти

на воздух и разгребать снег, как прежде. А я так радовался на окно, в которое проникал свет, и на то, что дедушка мог видеть солнышко. Теперь всё кончено, — мы не видим ничего, кроме стен нашей хижины и даже боимся открывать затворку, потому что труба так низка, что приходится почти вровень с крышей, и отверстие её достаточно велико, так что волки, если они бродят ещё поблизости, могут попасть через него к нам в хижину.

Дедушка упрекает меня за то, что я поддаюсь унынию, и говорит, что он не узнаёт меня и не понимает, куда девались моя бодрость и терпение.

Он прав — я сам недоволен собою.

15 декабря.

Сегодня воскресенье. Как-то проводят его наши друзья и соседи? Думают ли они о нас? — Конечно, если отец с ними; но если он погиб, тогда, наверно, все позабыли о нас, мы для них умерли.

В деревне спокойно ждут зимы, веселятся, ходят друг к другу в гости, беседуют у ярко горящего огня.

Никогда я не думал о том, как нужно человеку общество других людей. И работать, и веселиться приятнее с другими, чем одному. Какое счастье оказывать друг другу взаимные услуги!

Ах, если бы я мог вдруг очутиться в деревне, среди своих! Но неужели они не думают о том, как мы страдаем здесь, и не постараются спасти нас!

16 декабря.

Козье молоко, кусочек черствого хлеба и несколько варёных картофелин с солью — вот всё, чем мы питаемся всё время. И картофель нам нужно очень беречь — его немного. Иногда для разнообразия мы печём его в золе.

Я несколько раз уговаривал дедушку сварить себе кофе, но он страшно бережёт наш маленький запас. А между тем он чувствует себя плохо последние дни. Сегодня, наконец, мне удалось уговорить его. Я знаю, что он любит кофе, и правда, он пил его с наслаждением. Он хотел поделиться со мною, но я отказался. К чему мне кофе? Для меня совершенно достаточно молочной пищи, а старому человеку очень тяжело отказываться от своих привычек. Пастухи в горах очень часто питаются одним молоком и сыром, и это вовсе не вредит их здоровью. А в старости, я знаю, нужна более разнообразная пища.

17 декабря.

— Время-то как идёт, — сказал дедушка, — скоро уж и зима на дворе.

— Как скоро? — воскликнул я. — Да разве зима не пришла?

— Нет ещё. По календарю зима у нас начинается только с 21 декабря, а до тех пор считается осень. В горах зима начинается раньше.

— И кончается позже, — грустно прибавил я.

— Да, но мы можем освободиться и раньше весны. Если подует тёплый ветер и продержится несколько дней, то снег стает очень быстро и дороги очистятся.

— Значит, мы вполне зависим от случайности?

— А как же ты думал? Вся наша жизнь зависит от случайности. Мы постоянно окружены опасностями и только не замечаем их. Нужно только всегда быть твёрдым в тяжёлые минуты.

После этой беседы мы занялись чтением нашей единственной книги.

— Меня очень радует, — сказал дедушка, — что ты всё больше и больше знакомишься с этой книгой. Она будет впоследствии твоим лучшим другом и во всех трудных случаях жизни даст тебе лучший совет. И в этом главное назначение книги. Я знаю многих, имеющих большие библиотеки, читающих много книг, но видящих в чтении только забаву. Они живут для того, чтобы читать, а следует читать для того, чтобы уметь

жить.

18 декабря.

Сегодня дедушка почти ничего не ел весь день; я едва упросил его выпить несколько глотков кофе с крошечным кусочком хлеба. Я вижу, что он старается казаться спокойным, но он делает это ради меня. Боже, что будет с нами, если он заболеет!..

19 декабря.

Мы не можем топить очаг без того, чтобы не задыхаться от дыма, а вместе с тем боимся открыть затворку, потому что не знаем, ушли ли волки. Дедушка всё время жалуется, что задыхается или зябнет; ведь сосновые шишки дают очень мало тепла.

Сегодня я случайно нашёл в углу кухни старую заржавленную железную трубу, которую употребляли в прошлом году для маленькой печки. Мне сейчас же пришло в голову, что эта находка может дать нам возможность топить очаг, не задыхаясь от дыма.

— А что, если мы вставим эту трубу в затворку, чтобы выпускать дым? — спросил я дедушку.

— Это было бы прекрасно, — ответил он, — если бы только ты сумел её вставить. Ведь нужно сде-

лать отверстие в затворке. Как ты устроишь это? Я не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности ради того, чтобы доставить мне удобства.

Я молчал, потому что знал, что мне не удастся переубедить дедушку до тех пор, пока не придумаю такой план, с которым он согласится.

Просверлить отверстие, конечно, не трудно; доска затворки не толстая, и моих стареньких инструментов — пилы, ножа и буравчика — совершенно достаточно, чтобы с ней справиться. Всё дело в том, как устроить, чтобы добраться до затворки и удержаться на этой высоте во время работы. У нас нашлась крепкая новая верёвка, я привязал её к верхушке шеста и устроил из неё две петли, в которые мог вставить ноги, как в стремя. Затем, обвязав себя вокруг пояса другим концом верёвки, я привязал её к кольцу затворки. Таким образом, я мог держаться довольно долгое время на шесте вверху очага. План мой удался вполне, и через некоторое время труба была вставлена в просверлённое отверстие затворки и укреплена большими гвоздями.

Гордый и радостный спустился я вниз и тотчас же затопил камин.

На работу ушло немало времени, но нужно принять во внимание неудобные условия и

неумелость работника. Я, конечно, не стою той благодарности, которую выказал мне дедушка. Для меня уж достаточная награда видеть его сидящим у огня и греющим свои больные старые ноги. Да и самому приятно согреться, перед тем как лечь в постель.

Прослушав всё написанное мною, дедушка заставил меня написать под его диктовку следующее:

«Я не знаю, что предстоит нам в будущем, но я хочу, чтобы было известно, за что более всего благословляю я Бога в нашем печальном заключении.

Мой маленький внук слишком скромен, чтобы сознавать свои достоинства; и я не буду оскорблять его скромности неумеренной похвалой. Но я должен сказать, что поведение его наполняет моё сердце радостью, и я не могу не благодарить его за то, что он делает для своего старого деда. И даже не его должен благодарить я, а Бога, внушившего ему понятие об его обязанностях».

20 декабря.

— Не мешает нам подумать о том, чтобы укрепить нашу маленькую крепость на случай неожиданного появления волков, — сказал дедушка, осматривая окно. — Оконная рама очень стара, и

её легко вышибить, попробуем укрепить её.

Я, конечно, с радостью принялся за работу.

Мы взяли две дубовые доски от наших старых яслей и наколотили их внизу и вверху окна. Теперь вышибить раму довольно трудно. Дверь у нас постоянно на толстой железной задвижке, и мы отворяем её изредка, чтобы наполнить снегом бочку, когда кончается запас воды. Мы употребляем эту воду в нашем хозяйстве и находим, что она не хуже, чем ключевая.

21 декабря.

Мы всё бережем масло, и из-за этого я чуть не разбил большой глиняный кувшин с водой для питья. Он стоит у нас всегда в углу, на полу. Я пошёл туда что-то искать и в темноте опрокинул его. Хорошо ещё, что пол у нас не деревянный, а земляной, так что кувшин остался цел, и только пролилась вода.

— Вырой в углу ямку, — сказал дедушка, — и поставь в неё кувшин, тогда он не будет опрокидываться.

Я зажег лампу и взял заступ, но только что я начал копать, как дедушка внезапно остановил меня.

— Погоди-ка, — сказал он, беря у меня заступ и начиная рыть землю с величайшей осторож-

ностью.

— Что вы ищете, дедушка? — спросил я.

— Видишь ли, я совершенно неожиданно вспомнил, что несколько лет тому назад закопал здесь несколько бутылок вина. Это была бы прекрасная находка. Нашёл! Вот бутылка! А вот и другая, и третья, они все подряд и лежат.

Дедушка отрыл целых пять бутылок вина. С каким удовольствием выпил он полстаканчика этого старого вина, уговаривая меня выпить тоже за счастливую находку.

— Вот мы с тобой и отпраздновали первый день зимы! — сказал он.

Я заботливо уложил бутылки, чтобы сохранить их, зная, как вино необходимо для моего старого деда. Это маленькое приключение оживило нас и придало нам бодрости. Мы долго сидели и разговаривали.

Дедушка дал мне урок астрономии, и, мне кажется, теперь я понимаю, как Земля движется вокруг Солнца, отчего день сменяется ночью, зима — весной, весна — летом, лето — осенью и осень — опять зимой. Узнал я также, что Земля наша круглая, как шар.

22 декабря.

Я учил в географии, что обитатели гор мало

похожи на других людей. «И неудивительно, — говорил мне дедушка, — что их образ жизни и нравы так отличаются от нравов жителей долин. Горцы большую часть года заключены в своих хижинах или бродят по горам со своими стадами, почти не встречаясь с людьми. Альпийский пастух в продолжении целого года видит меньше людей, чем мы, жители деревень, в продолжении одного месяца. Эта уединённая жизнь не может не отражаться на характере горцев. Они сосредоточенны и молчаливы; они привыкают справляться собственными силами с суровой природой».

Так рассказывал мне дедушка, а огонь пылающего очага освещал его длинную седую бороду, серую шапочку, опушенную мехом, и грубое старое платье. Я смотрел на его лицо, с кроткими серьёзными глазами и доброй улыбкой, и мне казалось, что я вижу перед собой одного из тех святых, которым молятся у нас в долине. Я думал также о том, как он должен был страдать за меня и за отца, и при этой мысли глаза мои наполнялись слезами.

Но мы решили отвлекать друг друга от грустных мыслей, потому я скрывал свои слёзы.

Дедушка показал мне ещё несколько работ,

которыми занимаются горцы в зимнее время. Как я завидую людям, которые могут скоротать зиму постоянной работой! Если бы, например, у меня были материалы и инструменты и если бы я умел вырезывать из дерева такие прелестные вещи, какие делают в Бернском Оберланде, или если бы я умел изготовлять часы, как часовщики в Шо-де-фон и в долинах швейцарских озёр, как я был бы счастлив! Даже если бы я делал грубые деревянные бочки и вёдра, как другие жители гор, и то я был бы доволен; работа облегчает самое тяжёлое существование.

При свете лампы или огня на очаге я плету сиденья из соломы, но даже эту грубую работу приходится оставлять в то время, когда мы должны сидеть в темноте. Тогда мне остаётся только одно утешение — слушать рассказы дедушки и разговаривать с ним. Если бы этот могильный мрак сопровождался бы ещё могильным молчанием — наше положение было бы ужасно!

23 декабря.

Дедушка жалуется на боль и онемение членов. Каждое утро мы с ним ходим некоторое время взад и вперёд по нашей темнице. Это необходимо для нас обоих. Дедушка при этом опирается на моё плечо.

Сегодня он разулся и протянул к огню ноги, и я заметил, что они сильно опухли. Он уверяет, что это бывало и раньше и что нечего беспокоиться.

Я постоянно напоминаю ему, что он должен выпивать несколько глотков вина для поддержания сил. Вообще, он, видимо, заботится о своём здоровье только для того, чтобы не беспокоить меня.

Боже, сохрани мне друга, может быть, единственного на земле!..

24 декабря.

— Часть дня мы слепые, — сказал дедушка, — и потому нам нужно приучать себя работать, насколько возможно, ощупью. Попробуем плести из соломы в темноте, может быть, привыкнем.

Мы сделали первую попытку, и наша работа вышла довольно недурно. В другой раз, вероятно, выйдет ещё лучше. Я хочу попробовать делать соломенные шляпы. Мне очень хотелось бы научиться этому мастерству, оно не трудно, я видел, как делали шляпы маленькие пастухи в горах.

25 декабря.

Этот святой день мы посвятили молитве и разговорам о Спасителе. Я никогда не забуду мои беседы с дедушкой. Сегодня он так много и трогательно рассказывал мне о рождении Спасителя,

Его земной жизни, страданиях и смерти. Он передал мне много проповедей, притч и бесед Его с учениками, полных божественной прелести. Я слушал его, и мне казалось, что я стою в нашем старом храме, кругом меня толпятся друзья и соседи, раздаётся церковное пение и звон колоколов.

О, как счастливы люди, которые могут соединяться для молитвы и расходиться для работы!

Если мне суждено когда-нибудь сойти с гор, то я скажу своим братьям и друзьям:

— Если бы вы пробыли, как я, столько времени в одиночестве, вы почувствовали бы, как вы любите всех людей и как неразумны поселяющие смуту и вражду между людьми; вы сознали бы, что не хорошо быть человеку одному, и возлюбили бы ближнего своего, как самого себя.

26 декабря.

Сегодня утром дедушка чувствовал себя не хорошо и не пил свою порцию молока. К счастью, это продолжалось недолго, скоро ему стало опять лучше.

Он очень терпеливо переносит свои страдания.

— Слушай, Луи, — сказал он мне, — я всё время надеялся дожить до нашего освобождения. Это

было моё единственное желание. Я передал бы тебя отцу и умер бы спокойно. Но, кажется, Богу угодно взять меня к себе раньше и, может быть, тебе предстоит остаться одному в этой хижине. Не пугайся и не приходи в отчаяние. Что я теперь для тебя? Обуза, тяжести которой ты не замечаешь только потому, что любишь меня. Ты делаешь один всё необходимое для нашей жизни. Я передал тебе некоторый опыт, которого тебе не хватало, и, мне кажется, моя обязанность исполнена. Будь мужествен, как я, и смотри смело в будущее, приготовясь к разлуке, которая наступит, может быть, скорее, чем мы ожидаем. Впрочем, как знать: может быть, твои заботы обо мне и осторожность в пище ещё поддержат мою жизнь, и я увижу ещё весну.

Я ничего не отвечал, слёзы душили меня. Мы долго молчали, пока я не пришёл в себя и не принялся плести в темноте свою солому.

Вечером дедушка опять не пил молока и, видя, что его порция остаётся, он научил меня делать из неё сыр.

— Видишь, — сказал он, улыбаясь, — оказывается, что я ещё могу тебе пригодиться на что-нибудь.

За неимением сыворотки мы заквасили молоко

уксусом. Затем я влил его в глиняную форму и поставил; завтра мы увидим, что из этого выйдет.

Со своей стороны я тоже придумал для дедушки кушанье, которому он очень обрадовался. Я вспомнил, как тётки делали для него, когда он был не совсем здоров, гренки из хлеба с вином. Жаль только, что у меня не было сахару, чтобы посыпать их. Вино у нас прекрасное, оно было собрано в урожайный год.

— Такое вино не стыдно подать к столу принца, — сказал дедушка. — Хоть бы мне удалось увидать первые почки винограда, — прибавил он.

27 декабря.

Сыр вышел прекрасный. Я поставил его на стол и посыпал солью.

Он так аппетитен, что у меня текут слюнки, когда я смотрю на него. И всё-таки как я был бы счастлив, если бы у нас не оставалось молока на сыр, и дедушка выпивал бы всю свою порцию. Дедушка кушал сегодня только картофель, испечённый в золе, и немного хлеба с вином. Как он ни скрывает, я вижу, что он болен и силы его уходят.

28 декабря.

Дедушка ложится теперь раньше и встает позднее. Он говорит, что согревается и отдыхает под одеялом и соломой. Он очень заботится о своём здоровье, но делает всё это ради меня. Чему только не научился я от него за эти несколько недель! Я не узнаю себя: мысли и чувства ребёнка отлетели от меня, я превращаюсь во взрослого с необыкновенной быстротой. День прошёл без особенных событий. Я по обыкновению работал и почти всё время в темноте. Удивительно, как привыкли мои пальцы плести ощупью. Осязание развилось до такой степени, что я чувствую каждый узелок, каждую неправильность плетения. За тридцать дней заключения я научился большему, чем за всю мою жизнь на свободе.

29 декабря.

В те дни, когда однообразие нашей тихой жизни ничем не нарушается, мысли мои вылетают из темницы, направляются в нашу деревню и останавливаются на моём дорогом отце. Но я не знаю, где он. Прежде всего я ищу его дома. Я вижу его печальным и одиноким, его глаза устремлены в горы, он думает о нас, он не потерял надежду нас видеть. Но кто скажет мне, что помешало ему прийти к нам на помощь? Я чувствую, что мы увидимся, но печальное предчувствие говорит

мне, что день нашего свидания будет днём скорби для нас обоих.

Почему тебя нет с нами, отец?

Может быть, ты погиб, желая спасти свой скот?

В темноте, которая окружает меня так часто, я всё прислушиваюсь к чему-то с суеверным ужасом. Мне кажется — я слышу голоса, мне делается страшно, и я с трудом возвращаюсь к действительности.

Несколько слов дедушки ободряют меня. Я терпеливо жду будущего и не оглядываюсь на прошедшее.

30 декабря.

Приближается конец старого года. Сегодня нет занятий в школе, какая радость для моих товарищей! Так думал и я, когда жил в деревне, но теперь мысли мои очень изменились. Что бы я дал теперь, чтобы проводить каждое утро несколько часов в классе, который я считал прежде тюрьмой!

Я слышу звонок, призывающий нас по утрам в школу; мы входим в беспорядке, как попало, с книжками под мышкой; рассаживаемся; учитель встаёт, и мы вместе с ним читаем молитву, потом начинаем учиться.

В классе проносится сдержанный шепот: мы повторяем наши уроки. Все раскрывают свои тетрадки; шелест бумаги смешивается с шумом наших голосов; учитель останавливает нас, стуча по пюпитру большой буковой линейкой; мы переглядываемся и украдкой улыбаемся. Начинается диктовка; все приготовили перья, и они дружно забегали по бумаге. Затем идет урок арифметики, чтение и пение.

Так переходим мы от одной работы к другой; нас много, и мы не скучаем, но это не мешает нам с нетерпением поглядывать на деревянные часы. Маятник медлительно раскачивается в обе стороны, гири чуть заметно спускаются, и рассеянные ученики следят за ними. Наконец, три часа прошли, настал час освобождения.

В одну минуту тишина и молчание сменяются радостными криками и шумным движением.

Все бегут, толпятся, толкают друг друга. Тут же у школы начинаются игры и нередко одновременно с ними ссоры и драки. Когда-то и я тоже принимал участие во всём этом. И теперь, в то время как я пишу, я снова переживаю минувшее, я весь ушёл в воспоминания, я забываюсь…

— О чём ты опять вздыхаешь, бедный мой мальчик? — говорит дедушка. — Я посоветовал

тебе писать не для того, чтобы ты расстраивал себя этими записками. Постарайся думать и писать о том, что может тебя ободрить. Помни, что тебе нужно запасаться твёрдостью, особенно на будущее время.

— Не хуже ли вам, дедушка? — спросил я.

— Нет, я только из осторожности хочу полежать. Я хочу сохранить силы, чтобы месяца через два или три мы бодро и весело могли спуститься с гор. Белянка побежит впереди нас. Как нам обрадуются!

— Не будут ждать, чтобы мы сами спустились с гор; я вас уверяю, что за нами придут скорее, чем вы ожидаете.

— За нами придут? — повторил дедушка с серьёзным видом и взял меня за руку. — А если бы вестник освобождения пришёл позвать меня не в деревню, а на небо, что бы ты стал делать, Луи? Нужно это предвидеть и приготовиться. Я нисколько не сомневаюсь, что ты будешь прекрасной сиделкой и побережёшь меня последние дни, но потом… у тебя будут ещё обязанности… с моим телом. Исполнишь ли ты их?

Я прервал дедушкины слова рыданиями и умолял его не продолжать. Мы крепко обнялись, затем я записал этот тяжёлый разговор и лёг,

чтобы забыться во сне.

31 декабря.

Счастливый день! Дедушка сегодня чувствует себя бодрее, и у него появился аппетит. Он выпил свой кофе с молоком, кушал днём и выпил капельку вина.

Последний день года подходит к концу…

1 января.

В прошлом году я провёл этот день в семье. Накануне отец ездил в город и накупил нам подарков. Утром мы ходили с ним в церковь, а к обеду у нас собрались родственники. Мы пировали довольно долго, после обеда дети танцевали под песни. Если бы я мог знать тогда, где я буду встречать следующий новый год и сколько мне придётся пережить и перестрадать за это время! В жизни человека бывает столько неожиданностей, что он должен быть всегда наготове ко всему, как солдат в ожидании неприятеля.

Дедушка знал, что мне в этот день будет грустнее, чем обыкновенно, и потому старался развлечь меня. Он припоминал разные игры, загадки и шутки и всё время оживлённо разговаривал. Вечером мы устроили настоящий пир. Кроме печёного картофеля у нас был мой сыр,

который очень удался, и гренки в вине.

Белянка тоже не была забыта: она получила свежее сено, двойную порцию соли и охапку чистой соломы.

Дедушка хочет приписать несколько слов в моём дневнике.

«Возможно, что я не увижу больше своих родных и не успею сообщить им мои последние желания. Не буду делать особенных распоряжений относительно моего имущества, но я хочу оставить кое-что на память моему милому внуку, Луи Лопра, в знак признательности за его заботы обо мне. И так как я не могу ничего подарить ему сегодня, в день Нового года, то прошу моих наследников передать ему от моего имени следующие вещи:

Мои часы с репетицией.

Моё ружье.

Мою Библию, которая принадлежала моему отцу.

И наконец, стальную печать с моими инициалами, которые одинаковы с инициалами моего внука.

Я уверен, что эти безделицы будут для него драгоценны, как знак памяти о человеке, с которым связывало его чувство привязанности и которого

только смерть разлучила с ним.

Такова моя последняя воля.

В хижине Антизанд
1 января 18…
Луи Лопра

Дорогой дедушка, позвольте и мне на страницах моего дневника выразить вам мою глубочайшую признательность. Я чувствую, какое счастье, что вы были со мной в этом уединении. Мне не нужна награда за мою привязанность, но эти знаки вашего внимания я принимаю с благодарностью. Я желаю только одного в этот день Нового года, чтобы вы могли ещё долго наслаждаться жизнью среди ваших близких и родных.

2 января.

Давно уже мы не слышим никакого шума снаружи, необычайная тишина окружает нас. Мы заключаем из этого, что снегу выпало очень много, и что наша хижина почти погребена под ним. Но наша железная труба ещё свободна, дым проходит прекрасно. Сегодня через неё залетело к нам несколько хлопьев снега. Эти белые вестники зимы служат единственным сообщением между нами и внешним миром. Если бы наши часы остановились, мы потеряли бы всякое пред-

ставление о времени. Единственно, по чему мы распознаем утро, — это узенькая полоска света, проходящая к нам через трубу.

Зато мы не страдаем от холода в нашем молчаливом убежище. Мы думали сначала, что нам будет очень душно в хижине, но маленькое отверстие в трубе достаточно очищает воздух.

Когда мы зажигаем лампу и сидим у ярко горящего огня за нашими обыденными занятиями, мы даже забываем на время о нашем несчастии. Я уверен, что нам в такие минуты позавидовал бы любой из моих товарищей. Разве не мечтали мы часто о пустынном острове Робинзона? А ведь океан ещё больше отделял Робинзона от людей, чем нас — снега. Он надеялся на какой-нибудь случайно заплывший корабль, а мы уверены, что рано или поздно снега в горах растают. До тех же пор Бог хранит нас здесь.

4 января.

Вчера вечером я не брал пера в руки и даже не подумал о нём.

К сожалению, у меня было слишком много другого дела.

Утро прошло спокойно. Дедушка мало ел, но ни на что не жаловался. Вечером, после ужина, мы спокойно сидели у огня, как вдруг дедушка

страшно побледнел, покачнулся и потом стал спускаться со стула на пол. Если бы я не поддержал его, он упал бы головой прямо на огонь.

Я вскрикнул от испуга, но тотчас же подхватил его и с невероятным усилием поднял и донёс до нашей постели. Он был без сознания, голова и руки совершенно похолодели, вся кровь прилила к сердцу. Я вспомнил, что в таких случаях нужно спускать голову больного как можно ниже, чтобы кровь прилила к ней. Через минуту сознание вернулось.

— Где я? — спросил дедушка слабым голосом. — На постели? — прибавил он с изумлением.

— Конечно, — ответил я, — с вами сделался обморок, и я думал, что вы скорее придёте в себя, если я перенесу вас на постель. И видите, я был прав, ведь вам лучше теперь?

— Перенёс меня сюда! — с изумлением повторил дедушка. — Слава Богу! По мере того, как мои силы уменьшаются — твои прибывают. — И он крепко обнял меня.

Я уговорил его выпить несколько капель вина, и это немного оживило его.

— Не огорчайся, — сказал он спокойно, — это произошло только вследствие того, что я вздумал поесть твоего сыра. Мне не следовало это делать

— я знал, что мне вредно даже молоко. Но теперь всё прошло, я чувствую себя гораздо лучше и, вероятно, скоро засну.

И действительно, он почти тотчас же уснул.

Я сидел около него, пока не убедился, что он спит крепко и спокойно.

Сегодня я всё время был занят стиркой нашего белья. Дедушку я уговорил остаться в постели, а сам собрал всё, что нужно было вымыть, приготовил, по его указаниям, щелок в деревянной лохани, выстирал все наши вещи и развесил их у огня для просушки. К вечеру я покончил с этой необходимой работой.

На ночь я предложил дедушке растереть его куском фланели, так как заметил, что он часто растирал руки и ноги, и это ему несколько помогало. Тут только я увидал, насколько исхудало и ослабло его тело.

Я растирал его в продолжении целого часа, и он говорил, что ничто так не оживляет и согревает кровь в членах, как такое растирание, заменяющее необходимое движение.

— Мне кажется, что ты возвращаешь мне жизнь, — говорил он. — Живительная теплота разливается по моим членам, и мне легко дышать.

Его слова придавали мне ещё больше сил и усердия, но он начал беспокоиться, что я устану.

— Разве вы не видите, дедушка, — сказал я, — что и для меня это полезное упражнение? Пожалуйста, давайте мне почаще возможность так расправлять мои руки.

Теперь мой больной спокойно спит возле меня, а я пользуюсь тишиной и свободой, чтобы записать историю двух последних дней.

5 января.

Утром дедушка говорил со мной откровенно о состоянии своего здоровья. Его слова ещё звучат в моих ушах. Как я ни молод, эти минуты не пройдут для меня бесследно.

— Слушай, дитя моё, — начал он, когда я сел около него, — я не сомневаюсь больше в том, что жизнь моя уходит. Разве мыслимо удержать душу в таком слабом теле до весны? Я не смею на это надеяться; слабость моя увеличивается с поразительной быстротой, и я думаю, что тебе придётся одному дожить эту печальную зиму. Я не сомневаюсь, что ты будешь более огорчён нашей разлукой, чем твоим одиночеством, и что ты будешь испытывать больше горя, чем страха. Но я надеюсь, что твоё мужество и вера помогут тебе не впадать в отчаяние. Ты должен думать о своём

отце, которого ты, конечно, увидишь, и эта мысль тебя поддержит. Я не могу больше ничем помогать в твоей жизни, напротив, я буду служить для тебя помехой в то время, когда тебе представится возможность оставить хижину и идти домой. Но только я прошу тебя не слишком торопиться. Несколько дней больше или меньше ничего не составят в таком долгом заключении, а между тем ты рискуешь погибнуть, если поторопишься и отправишься слишком рано. И зачем тебе так спешить? Здоровье твоё пока ещё нисколько не пострадало. После моей смерти, конечно, ты будешь себя чувствовать страшно одиноким, но подумай о том, сколько заключённых в тюрьмах не видят никого долгие годы. И ещё при этом они часто мучаются упрёками совести, у тебя же всегда будет сознание исполненного долга.

— Ещё одно беспокоит меня, милый Луи, — я боюсь, что моя смерть напугает тебя, моё безжизненное тело будет внушать тебе ужас. Хотя почему бы тебе бояться трупа твоего старого друга?

Разве ты боишься меня, когда я сплю? Когда со мной сделался обморок, ты нисколько не растерялся, напротив, ты собрал всё своё мужество, чтобы помочь мне. И когда тебе придётся

присутствовать при моём последнем обмороке, который называют смертью, будь так же твёрд и мужествен. Моё тело тогда будет ожидать от тебя последней услуги: окажи её ему, когда природа укажет время. Твоих сил на это хватит, я видел это в тот вечер, когда ты перенёс меня на постель.

За этой дверью — наша молочная, она нам не нужна, там ты выроешь яму глубокую, насколько сможешь, и там закопаешь моё тело до прихода отца, который перевезёт меня на наше кладбище в деревне. После этих печальных минут ты останешься совсем один в нашем угрюмом жилище; не предавайся бесплодному отчаянию…

По мере того, как дедушка говорил, он делался всё спокойнее, торжественнее и даже радостнее.

Я только удивлялся, как могла такая мужественная душа жить в теле, близком к разрушению. Слабая надежда закрадывается в моё сердце… у меня есть предчувствие, что он ошибается.

6 января.

Ещё один день прошёл! Эти слова мы повторяем каждый вечер. Я всё с большим и большим нетерпением жду весны, мне кажется, что она не придёт никогда. Страх одиночества, которое мне предсказывал дедушка, заставляет меня беспокоиться ещё сильнее. Я стараюсь избегать

этих печальных мыслей, стараюсь не думать о себе и только надеяться на Бога. Ах, если бы Он сохранил мне моего дорогого друга!

7 января.

Темнота ещё тяжелее для больных; говорят, она вредит даже совсем здоровым людям. Свет создан для человека и человек для света. Мы придумали, как экономить наше масло и вместе с тем не оставаться совсем в потёмках. Мы просверлили дырочку в пластинке пробки и вставили в неё тоненькую светильню. Этого слабого света совершенно достаточно для моей работы, и он радует дедушку. Конечно, людям, привыкшим к настоящему освещению в зимние вечера, наша комната показалась бы совсем тёмной, но для нас достаточно уж того, что мы можем видеть друг друга, не бродить ощупью по комнате и делать различие между днём и ночью. Этот полусвет, напоминающий первые проблески рассвета, сосредоточивает мысли и вместе с тем разгоняет тоску; он похож на свет лампады, мерцающий в церкви и располагающий к молитве.

Ни одно движение дедушки не ускользает от моего взора: он часто сидит со сложенными руками и с глазами, устремлёнными вверх или пристально смотрящими на меня. Я без слов

понимаю его мысли, и, не сговариваясь, мы соединяемся в одном желании.

10 января.

Господи, Твоя воля… Я один на всём свете! Это случилось третьего дня… Я не могу писать об его смерти. Бумага смочена моими слезами…

12 января.

Да, сегодня 12 января; два дня тому назад написал я последние ужасные строки… Сознание возвращается. Если бы я не чувствовал, что Бог здесь со мной, — я умер бы от ужаса, наполняющего мою душу.

13 и 14 января.

Седьмого я лёг полный надежды: дедушка чувствовал себя лучше, чем обыкновенно. Однако не успел я заснуть, как услыхал его тихий стон. Не дожидаясь, чтобы он меня позвал, я вскочил, зажёг огонь и подошёл к нему спросить, что у него болит.

— Был опять обморок, — ответил он, — может быть, пройдёт, как тогда, а может быть…

Он остановился.

— Выпейте немного вина, дедушка.

— Нет, дитя моё, намочи мне только виски и потри руки уксусом. А потом… возьми «Подра-

жание Христу». Читай то место… знаешь, где я отметил, на всякий случай.

Я повиновался. Смочив его виски и руки уксусом, я взял книгу, встал около него на колени и начал читать, весь дрожа.

Дедушка остановил меня, взял мои руки и начал громко молиться.

Насколько могу, я постараюсь припомнить эту молитву.

«В ту минуту, когда я готовлюсь предстать пред Тобой, Господи, я не должен был бы думать ни о чём, кроме вечного Суда Твоего. Прости меня, но я не могу не думать о ребёнке, который остаётся здесь один. Я трепещу при мысли о том, что с ним будет.

Я надеялся сойти вместе с ним с гор и увидеть ещё раз наши леса и долины. Ты не допустил этого, Господи, допусти же, чтобы внук мой увидал их. Помоги ему быть мужественным, осторожным и предусмотрительным. Да не осудят меня его отец, родные и друзья за то, что я погубил его, взяв с собой».

Дедушка произносил слова с большим усилием и слабым голосом.

Белянка, вероятно, удивлённая светом и шумом в необычное время, вдруг начала блеять самым

настойчивым образом.

— Бедная Белянка, — сказал дедушка, — мне хочется приласкать её в последний раз. Приведи её сюда.

Я исполнил его желание и подвёл к постели Белянку, которая по привычке встала на задние ноги, а передние положила на край постели, ища что бы ей полизать. Мы приучили её получать каждый день соль с наших рук. Я думал доставить удовольствие дедушке и положил в его ладонь немного соли, которую Белянка тотчас же слизала.

— Будь всегда хорошей кормилицей, — сказал дедушка, с трудом погладив её шею. Потом он отвернулся, и я отвёл Белянку на место.

После этого дедушка почти ничего уже не говорил, не отпускал меня от себя, всё время держа мою руку в своей и слабо пожимая её время от времени. Его глаза с нежностью останавливались на мне, и я чувствовал, что, умирая, он думает обо мне.

Я сказал ему, как я его люблю. При этих словах потухающий взор его оживился. Я видел, что ему это было приятно. Тогда, собрав всю свою твёрдость, я наклонился над ним и сказал:

— Прощайте, дедушка, прощайте! Я постараюсь

следовать в жизни вашим наставлениям; не тревожьтесь обо мне, Бог защитит меня.

Я почувствовал слабое пожатие руки и видел, что бедный дедушка пытается что-то сказать, но язык уже не повиновался ему. Он только вздохнул.

— Я всегда буду помнить все ваши советы, — продолжал я. — Из любви к вам я буду делать все усилия, чтобы не погибнуть здесь и выбраться из этой хижины. Прощайте, прощайте!..

Я почувствовал ещё раз слабое движение руки — последнее. Холодеющая рука его выскользнула из моей… всё было кончено…

Я медленно оглянулся кругом. Я был один в нашем угрюмом жилище, в тишине безмолвной ночи один… с трупом. Невольная дрожь пробежала по моим членам… Я не помню, как прошла эта ночь, казавшаяся мне бесконечной. Утром у меня хватило сил на то, чтобы завести часы и подоить Белянку. Холод заставил меня развести огонь на очаге. Потом я снова впал в оцепенение. Прошел день, снова наступила ночь. Поднялась буря. Я прислушивался к глухим завываниям ветра в трубе. Забившись в угол у очага, я сидел там, не двигаясь, при слабом свете нашей лампады. Мысли мои путались, безумный страх охватил

меня. Я чувствовал, что он всё более и более овладевает мною. Тогда я решился во что бы то ни стало подавить в себе это ужасное чувство и подойти к трупу. Медленно, с трепещущим сердцем приближался я к нему, не решаясь взглянуть на него. Потом, преодолев ужас, я посмотрел на лицо покойника и даже осмелился прикоснуться к нему раз, потом другой и третий; я чувствовал, что с каждым разом страх мой уменьшался.

После этого я несколько раз подходил к покойнику и подолгу стоял подле него. Выражение его лица было такое кроткое и спокойное! Слёзы градом катились из моих глаз, когда я вглядывался в дорогие для меня черты.

— Нет, — сказал я себе, — я не боюсь трупа моего дедушки.

Я плакал долго, до утомления, наконец, глаза мои стали слипаться. Я не решился лечь около трупа и нашёл прибежище возле Белянки. Теплота её живого тела и лёгкий шум, производимый дыханием, действовали на меня успокаивающим образом. Я уснул крепким, тяжёлым сном.

Настало утро, и вместе с ним возобновилось моё горе. Я машинально исполнил обычную работу и большую часть дня провёл около покойника. Я больше не боялся, но по мере того, как

проходил мой страх, я всё сильнее ощущал своё горе. Мало-помалу я начал думать о погребении дедушки. Я припоминал его наставления и указания, но не решался приступить к исполнению этого печального обряда, потому что ещё незадолго до смерти дедушка говорил мне о том, как часто хоронят мнимоумерших и как необходимо поэтому выжидать известный срок.

К ночи мне стало опять тяжелее. Чтобы подкрепить себя немного, я выпил несколько капель вина и при этом вспомнил, как берег дедушка это вино и как я надеялся, что оно поддержит в нём жизнь.

Тело дедушки начало уже разлагаться, я чувствовал, что необходимо заняться погребением, и не находил в себе сил. Теперь у меня было одно желание: удержать как можно дольше эти дорогие останки.

«От земли взят ты и в землю обратишься», — вспомнил я слова Св. Писания. Я взял заступ и отворил дверь в молочную. «Ты был сиделкой, — говорил я себе, — был доктором, теперь будешь могильщиком. Ты будешь сам делать то, чего обыкновенно родные стараются не видеть».

Первый удар заступа, глухо раздавшийся в каменных сводах молочной, заставил меня со-

дрогнуться всем телом. Нужно было привыкнуть к этому звуку, так неприятно нарушавшему глубокое безмолвие нашей хижины. Целый день я копал могилу, которую можно было выкопать в продолжении двух часов. Я старался выкопать глубже яму, чтобы хищные звери не нашли трупа, в случае если я уйду из хижины или, может быть, тоже умру. Кроме того, необходимо было зарыть глубже труп, чтобы запах от разложения не отравлял воздуха.

Пробило десять часов. Опять пришла ночь и с нею чёрные мысли.

Хотя в моём жилище и не было заметно разницы между днём и ночью, но я как-то чувствовал её приближение. У меня не хватало мужества начать погребение в этот час, хотя откладывать долее было почти невозможно. Чтобы уничтожить запах, распространявшийся от трупа, я затопил очаг и хотел покурить уксусом. Но запах уксуса с дымом раздражал козу, она чихала и блеяла, мне пришлось оставить это.

Работа утомила меня, я лёг опять около Белянки, которая, по-видимому, была очень довольна моим присутствием, и скоро заснул.

11 января первая моя мысль была о предстоящей тяжёлой работе. Мужество моё уменьшалось

по мере приближения этого часа. Вместо моего обычного завтрака — парного молока и картофеля — я съел маленький кусочек хлеба, смоченного вином. Подкрепившись таким образом, я приступил к погребению.

Поставив около постели две скамьи рядом, я положил на них длинную, широкую доску, ту самую, которая выпала из стенного шкафа и за которой я нашёл «Подражание Христу». Медленно и постепенно я сдвинул тело на эту доску и привязал его к ней верёвкой. Вид этого беспомощного, неподвижного тела, со сложенными на груди руками, с наклоненной набок головой, привёл меня снова в исступление. Я плакал, кричал в бессильном отчаянии, говорил бессвязные слова, призывая моего дорогого дедушку. Ни звука в ответ, кругом могильная тишина… Наконец, я опомнился.

Спустив доску с телом на пол, я осторожно дотащил её за верёвку до могилы.

С помощью верёвок спустил я труп в могилу.

Всё самое трудное было сделано, оставалось последнее, и я не решался начать его, т. е. бросить первую горсть земли.

Я опустился на колени перед открытой могилой и стал читать молитвы, потом взял «Подража-

ние Христу» и оттуда читал места, отмеченные дедушкой.

Я читал громко, и мне казалось, что я не один в хижине. После молитвы я засыпал могилу.

Остальную часть дня я посвятил вырезыванию на маленькой гладкой доске следующих слов:

«Здесь покоится тело
Пьера Луи Лопра.
Скончался в ночь с 7 на 8 января 18…
на руках своего внука Луи Лопра,
который и похоронил его».

Я приколотил эту дощечку на толстую палку, которую воткнул в могильную насыпь.

Сделав всё это, я затворил дверь в молочную и остался в кухне вдвоём с Белянкой.

Каждое утро и каждый вечер я молюсь на могиле дедушки.

На другой день после похорон я почувствовал страшную пустоту: у меня не было необходимой работы, и я не мог заставить себя работать для развлечения.

Вчера — 13 января — мне пришло в голову прочесть весь мой дневник. Я снова пережил день за днём всю мою жизнь здесь с дедушкой, я как будто слышал его рассказы и разговаривал с ним.

14 января я весь день описывал печальные события последнего времени.

15 января.

В моей жизни произошла перемена, которую я чувствую с каждым днём всё сильнее и сильнее. Ещё бы! У меня был друг, с которым я мог говорить и у которого находил сочувствие! Насколько мне было лучше прежде, чем теперь! Как я жаловался на свою жизнь тогда, а теперь с каким удовольствием я вернул бы её! Я один, совсем один — эта мысль не покидает меня ни на минуту.

16 января.

День прошёл так же, как и предыдущие. И я лег бы с такой же гнетущей тоской на сердце, если бы не случилось одно маленькое происшествие, оживившее и успокоившее меня.

Вечером, когда потух огонь на очаге, я хотел зажечь мою лампаду, когда вдруг услыхал лёгкий шум в трубе, и по комнате распространился запах угара. Я догадался, что загорелась сажа, и влез на очаг, чтобы осмотреть трубу. Искра, очевидно, уже потухла, и я ничего не нашёл опасного, но в то время, как я, подняв голову смотрел вверх, над трубой показалась ярко блестевшая звёздочка и, медленно проплыв, снова скрылась.

Это длилось одно мгновение, но оно живо напомнило мне о внешнем мире и заставило забыть о моей мрачной темнице.

17 января.

Вчера я лёг полный радости и какой-то смутной надежды. Но сегодня я встал опять слабый и разбитый. Весь день я ждал наступления вечера, в надежде увидеть опять звезду. Может быть, она переменила своё место, или небо было облачно, но я не видал её больше.

18 января.

Белянка даёт так много молока, что я не могу его выпивать и делаю каждый день сыр из остатков. Эта работа меня несколько развлекает. Одиночество для меня невыносимо, я стараюсь спать как можно дольше, чтобы сократить бесконечные дни.

19 января.

Я пишу только для того, чтобы писать. Чем наполнить мне мой дневник? Описанием моего горя? Я беру перо в руки и думаю оживить мои мысли: напрасный труд! Я не могу выйти из моего оцепенения.

20 января.

Ничто не может сравниться с невыносимой тоской, которую я испытываю. Моё отчаяние в первые дни заключения, мой страх быть съеденным волками, горе во время смерти и погребения дедушки — всё это ничто в сравнении с тем ужасным состоянием, в котором я нахожусь теперь. Даже молитва мне не помогает.

21 января.

Для Белянки решительно всё равно, кто бы около неё ни был, только бы её кормили; она даже не замечает отсутствия дедушки. Она пользуется моими заботами совершенно бессознательно. Какое безумие с моей стороны упрекать её! Разве можно требовать благодарности от существа, не имеющего разума!

22 января.

Помечу это число в моей тетради. О нём не будет никаких воспоминаний. О чём мне писать?

23 января.

Я чуть не погиб… Смерть была бы внезапная, ужасная и сразила бы меня в минуту моего малодушного уныния.

Последние дни я начал замечать, что погода становится теплее и дым проходит через трубу не так легко, как прежде. Сегодня, часов около двух

дня, я услышал глухой шум, похожий на отдалённые раскаты грома; он необыкновенно быстро приближался, потом вдруг раздался страшный грохот где-то близко около меня, и вся хижина потряслась до основания.

Я вскрикнул от ужаса. Несколько вещей попадало и густой слой пыли поднялся в кухне. Опомнившись несколько, я стал осматривать хижину. В кухне я не нашёл никаких повреждений, но войдя в хлев, я догадался, что удар был именно с этой стороны. Обвалившаяся штукатурка покрывала весь пол, стена треснула и покривилась, часть крыши была разбита с той стороны, где хижина упиралась в гору. Вероятно, оборвалась часть скалы сверху или упала громадная глыба снега, разрыхлевшего под влиянием теплой погоды. Во всяком случае, опасность, очевидно, миновала. Потрясение было сильно, но оно вывело меня из оцепенения.

24 января.

Белянка меня беспокоит, она начинает давать меньше молока.

25 января.

Дедушка, вероятно, предчувствовал, что я останусь один, и давал мне советы на всякий случай.

— Что, если Белянка перестанет нам давать молоко, — сказал он мне однажды, — нам придётся убить её, чтобы питаться её мясом.

Затем он дал мне некоторые указания относительно сохранения мяса и приготовления для еды.

Неужели мне придётся прибегнуть к этой жестокой крайности?

26 января.

Если обстоятельства не ухудшатся, то я могу прожить некоторое время спокойно. Молока Белянки хватает мне на день. Конечно, не остаётся на сыр, но его у меня припасено довольно. Вообще, пока ещё провизии у меня достаточно. Я рассчитал, что могу быть сыт в продолжение пятнадцати дней.

27 января.

Молоко всё уменьшается.

Если бедное животное не будет давать молоко, мне придётся питаться его мясом.

30 января.

Меня занимает мысль: стоит ли мне, чтобы поддержать моё жалкое существование, делаться палачом животного, которое кормило меня столько времени? Она убавила молока наполо-

вину.

1 февраля.

Вчера молоко не уменьшилось, но мне стоило это очень дорого: я дал козе тройную порцию соли, она пила очень много и дала больше молока. К сожалению, я не могу так продолжать: если мне придётся убить Белянку, без соли нельзя будет есть её мясо.

Убить Белянку!..

Сегодня берёг соль и получил значительно меньше молока.

2 февраля.

Белянка очень жиреет. Я слыхал, что слишком откормленные куры перестают нести яйца и хотел попробовать дать Белянке поменьше сена. Это средство совсем не удалось — она дала ещё меньше молока, чем накануне, кроме того, надрывала мою душу жалобным блеянием в продолжение целого дня.

3 февраля.

Ещё одна попытка, но тоже неудачная: я хотел заменить сено соломой, думая, что поможет разнообразие пищи. С трудом заставил я её есть непривычную пищу и в награду получил только несколько капель молока.

4 февраля.

Я не буду её мучить больше. Если она должна умереть, я не буду отравлять последние дни её существования. Сегодня она прекрасно ела. Я постараюсь отдалить, насколько возможно, это несчастие и, может быть, мне удастся избежать его.

7 февраля.

Не стоит труда доить Белянку два раза в день, — я дожидаюсь вечера, чтобы получить хотя немного молока. Но я причиняю ей боль, выдавливая с трудом молоко, и потому она перестала подпускать меня к себе. Очевидно, придётся оставить её в покое.

8 февраля.

Сегодня я пробовал подоить Белянку, но тщетно. Я бросил ведро, сел около неё и горько заплакал.

Она продолжала есть сено и изредка отвечала мне коротким, отрывистым блеянием. Говорят, что коза не различает людей, что она не привязывается к человеку, как собака, но, мне кажется, Белянка любит своего друга, она доверчиво относится ко мне. И мне придётся её зарезать! Вероятно, она будет страдать, потому что я не сумею справляться с ножом, — она будет биться в моих

руках! Я оттяну, насколько возможно, ужасную минуту. Немного сыру и картофеля хватит ещё на несколько дней.

12 февраля.

Немыслимо вести дневник при тех терзаниях, которые я испытываю. Припасы истощаются, я уменьшаю ежедневную порцию до последней степени. Белянка чувствует себя прекрасно; я никогда не ласкал её так часто, как теперь; я чувствую, что скоро наступит время с ней расстаться.

13 февраля.

Я ищу по всему дому, не спрятана ли где-нибудь провизия; в нескольких местах я копал землю — ничего нет. Скоро у меня ничего не останется для еды.

17 февраля.

Со вчерашнего вечера стало так холодно, что мне пришлось топить очаг весь день. При таком холоде мне удастся сохранять мясо несчастной козы, но может снова сделаться тепло — нужно торопиться. У меня осталось только немного соли и несколько картофелин.

18 февраля.

Холод страшный; я вспомнил о волках. Вероятно, они бегают теперь в горах. О Боже, всё, что угодно, лишь бы не быть съеденным волками! Лучше быть погребённым заживо под снежной лавиной.

20 февраля.

Я решаюсь на отчаянный поступок. Завтра я оставляю хижину. Я записываю это последнее решение в моём дневнике, который оставляю здесь.

Вчера утром блеяние Белянки разбудило меня в то время, как я видел страшный сон. Я видел себя разрывающим окровавленными руками мясо несчастного животного, голова качалась передо мной, и я всё ещё слышал слабое блеяние, выходившее из перерезанного горла Белянки.

Я проснулся весь в слезах. Какая радость видеть Белянку живой! Я подбежал к ней, она стала ласкаться ко мне…

Моя радость продолжалась недолго, я чувствовал, что сегодня должен решиться… Я взял нож и начал точить его. Я представлял себя убийцей. Когда я подошёл к Белянке, руки мои опустились. От холода у меня коченели пальцы: это был новый предлог отложить ужасную работу. Я разложил огонь и начал мечтать, греясь около него.

«Могут же волки ходить по снегу, — мелькнуло у меня в голове, — почему бы мне не попробовать?»

У меня сердце забилось от радости при этой мысли. Но вдруг я вспомнил о Белянке: я не решаюсь убить её, чтобы поддержать свою жизнь, а оставляю её на растерзание волкам!

А если я убью козу — хватит ли мне её мяса до дня освобождения? Я знаю, Юрские горы иногда бывают покрыты снегом до лета. Не надо терять времени, пока снег ещё крепок… Нужно сделать санки. Эта мысль меня так заняла, что я на время забыл о голоде.

Я собрал все деревянные доски, которые у меня были, и начал мастерить санки. На них я положу козу, связанную по ногам, а сам сяду спереди, когда мы покатимся вниз с горы.

Вечером накануне задуманного путешествия я с грустью прощался с хижиной и с могилой дедушки. Я с ужасом помышлял о расстоянии между хижиной и долиной, но всё-таки оставался при своём решении и шёл на жизнь и на смерть. Готовы санки, верёвка и солома для козы и «Подражание Христу» — для меня. Я никогда не расстанусь с этой книгой.

2 марта, в доме отца.

Я дома! Отец только что кончил чтение моего дневника и заставляет меня написать заключение.

Счастье, от которого я не могу опомниться после целой недели жизни дома, мешает мне рассказать в последовательном порядке про события последнего дня моего заключения и о моём освобождении, которое произошло совсем не так, как я рассчитывал.

21 февраля холод был ещё сильнее, чем накануне, но я всё-таки решился идти, не теряя минуты. Прежде всего необходимо было проложить себе выход из хижины; я разбрасывал снег у двери, пока не дошёл до полного изнеможения. Пришлось отдыхать. Я затопил очаг. Вдруг я услыхал сильный шум снаружи; первая моя мысль была о волках, я поспешил запереть дверь и стал прислушиваться.

Снаружи раздавались голоса, и мне показалось, что меня называют по имени. Я закричал изо всех сил.

Радостные крики раздались в ответ.

Слышно было, что снаружи несколько человек разгребают и отбрасывают снег. Через несколько минут проход к двери, который я начал разгребать, был закончен с другой стороны, и мой отец

показался на пороге хижины. С криком радости я бросился к нему на шею.

— А дедушка? — спросил он тотчас же.

Я не мог отвечать и молча повёл его в молочную.

Он опустился на колени возле могилы. Я начал было рассказывать о последних минутах жизни дедушки, но не мог говорить от волнения. Отец остановил меня.

— Потом, потом, дитя моё, — сказал он, — мы не должны медлить, идти теперь по горам слишком тяжело.

Вошли мои два дяди и наш работник Пьер, которые сопровождали отца. Мы решили, не теряя ни минуты, отправиться в путь.

Отец дал мне ружьё; они все были вооружены на случай встречи с волками. Пьер взял также и мои санки.

— Теперь не время уносить останки дедушки, — сказал отец, — мы придём за ними весной, чтобы похоронить их на деревенском кладбище.

— Так хотел и дедушка, — сказал я.

Перед уходом мы все вошли ещё раз в молочную, чтобы проститься с дорогой могилой.

Путь был не длинный, но утомительный. Я был совершенно ослеплён ярким светом солнца

и блестящего снега. Мороз был сильный, но я только радовался на него, потому что он спас Белянку, которая ехала теперь с нами, привязанная к саням.

Когда мы вышли на проложенную дорогу, я увидел, сколько сил, времени и труда было положено, чтобы спасти нас. И я понял также, что, не будь такого мороза, немыслимо было бы проложить к нам дорогу по этой сплошной массе снега.

— Вы могли бы быть освобождены ещё в начале декабря, сказал отец, — если бы в то время внезапно не изменилась погода и вследствие тепла снег не сделался рыхлым. Ты видишь, Луи, — прибавил он, — что все наши соседи принимали участие в том, чтобы спасти вас, но никто не запомнит такой снежной зимы, как в этот год, и это страшно тормозило работу. Четыре раза отрывали дорогу, и каждый раз её снова заносило снегом.

— И так было с первого дня? — спросил я.

Тут отец рассказал мне, что с ним случилось на обратном пути от хижины, осенью. Он едва не погиб на спуске к деревне, оборвавшись вместе со снежным обвалом, и его нашли без сознания на краю пропасти. В таком состоянии его отнесли

в деревню на носилках. Несколько дней он не приходил в себя, и за эти-то дни снег сделал все дороги непроходимыми. Я не буду рассказывать о терзаниях моего отца при бесплодных попытках спасти нас; я понял, что в долине страдали не меньше, чем мы в хижине. Все соседи в деревне выбежали к нам навстречу и наперерыв выражали мне свою радость и привязанность, а я краснел за то, что сомневался в их готовности помочь нам. Каждый хотел видеть и приласкать Белянку. Тотчас же дали ей самого лучшего сена и прекрасную подстилку, словом, чествовали её так, как не чествовали никогда ни одну козу на свете.

Макс Вебер

Под поездом в ночь на Новый год

-У, наконец-то! Мы вас ждём не дождёмся. Я уже давно пары развожу, — обратился к входившим товарищам старый заслуженный машинист Цимерман, мешая привычной рукой пунш в огромной кастрюле.

Осыпанные снегом вошли в комнату паровозного депо несколько тёмных фигур; из-за поднятых воротников едва виднелись их раскрасневшиеся от мороза весёлые лица.

…Сегодня канун Нового года. В виде исключения стол покрыт чистой скатертью; в конце стола, перед камином, сидит старик Цимерман и занят приготовлением жжёнки. Судя по запаху, наполняющему комнату, и по количеству пустых бутылок на полу, надо думать, что жжёнка выйдет на славу, настоящая «машинистская» жжёнка, годная для здоровых глоток.

— Ну уж погода, жестокая нынче служба выпала под праздник! — заговорили вошедшие гости, стряхивая снег и высвобождаясь из-под разнообразных зимних одеяний — шуб, полушубков, меховых шапок и валеных сапог.

— Ну уж много вы, сахарные куклы, знаете про

жестокую службу! Стоите вы в стеклянных коробках, которые вам теперь устроили, и покачивают вас мягкие рессоры новых паровозов! Хотел бы я вас видеть на нашем месте лет тридцать тому назад! Мы ездили на таких паровозах, что каждый стык рельсов встряхивал нас до мозга костей. И стояли мы на открытых площадках день и ночь, и в декабрьскую вьюгу, и в июльскую жару, в дождь и в град — только и было защиты от непогоды, что форменный сюртук да собственная шкура. Это вот была служба. Много вы о ней знаете. Самое скверное теперь во всей-то вашей службе это то, что бедняге Гернигу нынче к празднику поднесли — экзамен. Не легко ведь его выдержать. Уж легче на паровозе под открытым небом, чем в школьной комнате… А вот и он сам! Ура!

Громко поддержали старика полдюжины грубых голосов, шесть жёстких, мощных рук протянулись навстречу молодому человеку, только что вошедшему в комнату. Одетый в чёрное праздничное платье, с раскрасневшимся лицом и ясными зоркими глазами, какие бывают только у машинистов и моряков, он неловко и нерешительно отвечал на радушные приветствия товарищей.

— Ну что было? Как сошло? Пробрали тебя на

экзамене? Как тебя там обрабатывали?

— Садись! Пуншу! — суетились вокруг него товарищи.

— Смирно! — вмешался здоровый бас Цимермана. — Дождёмся только Гернига и Франца, они с товарным поездом будут. Поезд опоздал на двадцать минут; мне мальчишка с телеграфа сказывал, — сейчас ребята будут. Поровну уж всё: и веселье, и жжёнку.

— Да, — заговорил молодой машинист, у которого от одного воспоминания об экзамене пот на лбу выступил. — Промаяли меня здорово. Около меня сажени на три в длину расселись разные важные господа — из них я никого кроме наших старших механиков никогда ни в мастерских, ни на паровозах в глаза не видал.

— О чём же они спрашивали? — начал было товарищ Бемиг, закуривая сигару, как вдруг снова открылась дверь с улицы.

Облако снега и пару ворвалось в дверь и с ним фигуры двух машинистов с товарного поезда, которых ждала весёлая компания.

— А, наконец-то! — зашумел кружок. — Жжёнку разливать теперь да пошлите в трактир за закуской.

— А вот вам и жаркое! — сказал один из вошед-

ших, поднимая за лапки полуобгоревшего зайца.

— Откуда ты эту штуку притащил, — что это такое?

— А это милое животное хотело сделать Гернигу сюрприз к Новому году и явиться сразу в жареном виде, да очень уж торопился косой, шубу не снял, — весь и обгорел! — засмеялся владелец русака.

— Он было отлично устроился в снежном завале, на скате, да подняли его красные фонари моего паровоза, и он начал с нами перегоняться. Я его минуты две или три видел — маленький серый глупыш во весь дух нёсся по другому пути рядом с нашим поездом. Я дал короткий свисток, — это его испугало, он кинулся вперед, обогнал нас, снова попал в красный свет фонарей и, сослепу, шарахнулся прямо поперёк пути, точно от угонки. Нарочно на обе стороны смотрел — не увижу ли его опять, — но он уже исчез. Я подумал, что он или под колёса попал, или под поездом назад ушёл, — и забыл про него, конечно.

Когда мы пришли на станцию и кочегары принялись за чистку колосников, я вдруг слышу из кочегарной ямы голос одного из них: «Герниг, а Герниг! Вы с собою жаркое привезли»! — Я даже испугался — не поджарило ли ему мозги жаром

от топки моего паровоза, — сошел вниз посмотреть, в чём дело! — Что вы думаете? — в зольнике лежит мой русачок из Балицкого леса, мёртвый и наполовину изжаренный.

— Его верно на ходу поддувало задело, — очень уж он торопился к нам попасть на стол, — рассмеялись товарищи рассказу машиниста.

— Чего вы смеётесь над бедным животным, умники! — заворчал старик Цимерман. — Вы небось не знаете, как это приятно лежать под зольником паровоза.

— А вы будто знаете? — раздалось ему в ответ несколько недоверчивых голосов.

— Я всё знаю — пора бы вам это запомнить, — всё испытал, что только происходит между основанием рельса и венцом паровозной трубы, — отвечал старик.

— Ну да в зольнике вы всё же не лежали, — рассмеялись весёлые голоса.

— Не совсем, — ответил серьёзно старик, — но под зольником был, а отчасти и в нём. Вы знаете, я видел, как в одну минуту — прежде чем вы бы успели поднять руку к свистку или тормоз притянуть — как в одну минуту от гордого, красивого, набитого весёлым народом поезда осталась только груда расщепленных вагонных стенок,

клочков обивки, обломков осей, колёс и связей. Стоны и крики отчаяния раздавались из этой груды развалин, около которой суетились почти обезумевшие от ужаса люди.

Я видел, как тяжёлые паровозы прыгали, кувыркаясь, с полотна, вниз по скату, колёсами вверх, кубарем — точно котята, играющие на крыше. Я был сам при том, когда всё превратилось в дикий хаос обломков, пара, огня, свиста и крика… но даже и в эти ужасные минуты у меня сердце не сжималось так страшно, как тогда, когда я лежал под зольником. За тридцать пять лет моей службы я не испытал ничего более…

— Расскажите, Цимерман, расскажите, — послышались загрубелые голоса, по звуку которых можно было догадаться, что они привыкли побеждать звон, дребезжание и грохот паровоза.

— Извольте, расскажу уж, — ответил старик, медленно развязывая шнурки кисета и набивая коротенькую трубку, — хотя и неохотно говорю я про эти дела: и теперь ещё ворочается у меня что-то под третьим ребром при одном только воспоминании. Если бы я уже тогда был там толстым Францем, каким вы меня теперь знаете, не было бы на свете моих ребятишек, а руки, вышивавшие этот кисет, шили бы вдовьи уборы.

— При чём же тут «толстый Франц»?

— Ну, закуривайте пока ваши проклятые модные дудки из кручёного табаку, — они к вам, неженкам, пристали как нам, старикам, наши коротенькие трубки; и давайте стаканы. А затем заткните пасти!

* * *

— Дело было ровно тридцать лет тому назад, накануне Нового года — 18… Погода стояла собачья, ветер, снег и дождь вперемешку. Я был ещё только что выпущен в машинисты, недавно женился и числился тогда в резерве на главной станции.

Вы знаете, на этой станции самая тяжёлая служба — откуда бы ни началась буря, на этой гладкой, как скатерть, площади она хуже всего разыграется. За город идут два пути в небольшой выемке; из них, бывало, один всегда заносит снегом в первый же час, как начнётся вьюга. За этой выемкой жил я тогда со своей женой и маленьким сынишкой.

Знакомое место — тут ещё около пути старая маслобойня стояла, — уже как мы её ругали всегда: приходилось каждый раз закрывать регулятор, чтобы искры не зажгли старую дранку

на крыше.

Я в этот день только что привёл на главную станцию тяжёлый товарный поезд, — мне пришлось тут во вьюгу и мороз сразу четырнадцать часов не сходить с паровоза.

Замёрз я, как собака, и заранее радовался горячему пуншу под Новый год. Уж темнело, когда я выезжал на станцию, и сотни цветных фонарей на стрелках, кругах и платформах блестели сквозь снежную занавесь, как праздничный фейерверк.

Уж и праздник же мне достался!!.. За Рождество на станции накопилось множество вагонов — штук с пятьсот, и их надо было привести в порядок, чтобы после Нового года можно было приняться за дело при чистых путях.

Не успел я сойти с паровоза в кочегарной, ко мне подходит старший составитель поездов: «Цимерман, Гаузер заболел, вам придётся вместо него вести третий паровоз на манёвры».

— Надо же этакую радость! — говорю я. — Уж только бы за полночь не затянулось дело — мне ведь надо дома встретить Новый год, а то счастья не будет.

— Вот ещё вздор! — отвечает он. — А вы только думайте о том, чтобы всё в порядок привести! — И

с этими словами снова исчез в вихре снега.

Меня мороз по коже хватил, так было скверно на душе, что и сказать нельзя. Жестокая вьюга была, когда я выехал на паровозе. Воздух был полон снега и мёрзлого пара; когда вихри охватывали машину, трубы не было видно. Кое-где мерцали красные, белые и зелёные точки сигнальных фонарей; сигналы рожков стрелочников и свистков составителей до того заглушались шумом вагонов, рёвом бури, стоном телеграфных проволок и свистками паровозов, что разобрать ничего нельзя было из криков и команды составителей поездов.

В то же время три паровоза таскали по всем направлениям около двухсот вагонов — они вырастали на мгновение громадными призраками из тумана и снежной метели и снова исчезали в темноте. Мелкий снег заглушал шум колес; не видно было и не слышно, как подходили и проходили тяжёлые поезда.

Бедные стрелочники и сцепщики по колено в снегу, мокрые до костей, ползали и прыгали во все стороны под бегущими вагонами.

Вы ведь знаете, какую картину представляет сортировочная станция в зимнюю ночь! — Один Бог уже устраивает в такие ночи так, чтобы не

все мы были разбиты и раздавлены в сплошную кашу.

Итак, скверная была ночка… Да и праздничный пунш точно заранее забрался в голову нашего брата: сортировка шла с такой быстротой, точно сам дьявол распоряжался манёврами.

Вагоны летали туда и сюда, так что огни фонарей мелькали как молния; только и слышен был всюду лязг цепей и грохот сталкивающихся буферов — люди ползали под вагонами и бегали между поездами, точно колёса были сдобными лепешками, а буфера — пуховые подушки.

Больше всех суетился маленький помощник составителя. Я хоть не очень его любил, признаться, но не мог не удивляться его ловкости, он был положительно везде — всюду видал я его сигнальный фонарь, он им махал и вверх, и вниз, и кругом, и вправо, и влево, — даже рев бури не заглушал его высокий, звонкий голос.

Я не выдержал, наконец, когда он под моим носом проскользнул между двумя сшибающимися буферами, — и крикнул ему, чтоб он не рисковал так невозможно своей головой в такую ужасную ночь; — того и гляди, в этой темноте поезд мог с рельсов сойти.

— Заботьтесь о своём деле, Цимерман, а не о

моей голове! — закричал он мне насмешливо в ответ. — Мы должны кончить сортировку к полуночи. Вперёд! — И снова исчез в тумане.

— А чёрт бы тебя побрал! — крикнул я ему вслед в сердцах. И не забуду я этого слова до конца жизни, — при смерти и то раскаиваться буду…

Тут старик смолк, провёл рукою по лбу и отпил глоток пуншу, прежде чем продолжать рассказ.

— Я слышал его голос ещё раз: он скомандовал «вперёд» моему товарищу на другом паровозе — звякнули упряжные цепи и потом странный звук… глухой крик и затем уж только звон и стук сшибающихся буферов… Меня дрожь пробрала… Но тут мне дали сигнал, — думать было некогда… Вперёд! вперёд!..

В несколько минут я уже был далеко от этого места на другом конце станции.

Но с той минуты я, как во сне, продолжал работу. Через полчаса мы уже кончали сортировку, и я снова въехал в паровозное здание. Ко мне подошёл начальник.

— Вы уже знаете, Цимерман? Торк, младший составитель, убит нынче на манёврах — раздавлен между буферами.

Я не расспрашивал — у меня было скверно на душе. Не знаю уже, как я убрал паровоз и очутил-

ся на дороге домой. Проходя мимо платформы, я увидел там кучку людей с фонарями — что-то чёрное, покрытое плащом, лежало на снегу. Мне нечего было узнавать — я так и задрожал и готов был Бог знает что дать, чтобы взять назад свои слова, я его полчаса тому назад к чёрту послал! Я старался выбить из головы эту мысль… всё же не со злобы сказал, а так, сгоряча выругался, как между нами часто водилось.

Ну, наконец, мне удалось представить себе мою уютную комнатку дома, Луизу, сынишку, тёплый камин и шипящий котелок на огне… стол с бутылкой рому, сахарницей и лимоном — светлая картина понемногу рассеяла мои тяжёлые мысли, — мне легче стало.

Вы поверите, что со всеми этими думами в голове я не много обращал внимания на ветер, непогоду и дорогу. Я заметил только, что буря ревела по-прежнему, когда я вошёл в выемку у старой маслобойни, — в ясную погоду оттуда уже видны были бы огоньки моего дома.

Я шёл по правому пути в вырезке, так как рельсы тут были чище от снега, и с правой стороны всё же скорее увидишь дом. Я шёл совершенно спокойно. Так как вы знаете, когда идёшь от станции, то правый путь — входной, и я знал, что

поезд не мог мне попасться иначе как навстречу, и я бы его тогда сейчас же заметил. К тому же в эту ночь никакого поезда и нельзя было ожидать.

Я только что подходил к середине вырезки, где, как вам известно, крутое закругление, в котором, при такой темноте, и на пять сажен вперёд не видишь, — как вдруг я услыхал за собой свисток паровоза и лёгкий стук колёс медленно приближающегося поезда.

Я понял также, что поезд идёт хвостом вперёд, так как удары поршней машины слышались гораздо дальше стука колёс.

Я подумал: «Ага, — это дополнительный поезд, осей в двадцать, который стоял там, на запасном пути, они его двигают на товарную станцию».

Всё это как-то смутно, машинально прошло у меня в голове, как это часто бывает у нас, служащих, особенно когда и сердце, и голова заняты совсем другими мыслями.

Я говорю смутно, — мне ведь не было дела до этого поезда, — он же должен был пройти мимо меня по другому пути.

Когда же, наконец, я отчётливо услышал за собою «тик-так» катящихся по мёрзлым рельсам колёс, услышал так же ясно, как звякала, качаясь, упряжная цепь переднего товарного вагона, и

увидал на снегу красный отблеск фонаря, — я повернул голову немного набок, чтобы крикнуть: «С Новым годом!» поездным ребятам.

Но на соседнем пути не было поезда, и в ту же минуту я получил страшный толчок в спину. Искры посыпались из глаз, когда я полетел на мёрзлую землю, и «раз-раз, раз-раз» покатились над моей головой вагоны поезда.

Старый машинист снова замолчал. В комнате царила мёртвая тишина; нагнувшись над столом, неподвижно, с открытыми широко глазами, окружали старого рассказчика молодые энергичные лица.

Старик снова наполнил стаканы, прижал пальцами золу в своей трубочке и продолжал:

— Знаете, ребята, когда мы вот так около стола сидим или на машине стоим, или даже — как бедный Герниг наш нынче — на экзамене мучаемся, мысли наши тихо, ровно, «по правилам» — выходят из наших толстых черепов, всегда успеешь оглянуться, «доброго пути» кому-нибудь пожелать… Господа инженеры говорят же, что мы, машинисты, туже других людей соображаем, — вся, мол, быстрота перешла от нас в наши паровозы… Но, господа, в ту секунду, которая пронеслась между ударом буфера в спину и мо-

им падением на землю, — я передумал столько, сколько, бывало, не успевал передумать между Пасхой и Троицей.

Прежде всего своих вспомнил, — светлую комнатку дома и всех, и всё, что в ней было; вспомнил и колокольный звон, и церковную службу под Новый год… Ну, будет об этом, вспомнил и младшего составителя, лежавшего на снегу, под плащом, — и вдруг стал спокойно рассуждать и разбирать сбивший меня с ног поезд, точно я распоряжался его манёврами.

Зачем он пошёл по неверному пути, по тому, по которому я шёл, по входному пути? — И мне сразу стало ясно, чего я не сообразил раньше, копаясь в своих чувствах. Я ведь ещё утром заметил, что выходной путь был весь занесён снегом, — поэтому, понятно, им пришлось идти по неправильному входному пути.

Я вспомнил потом ясно, как стоял этот поезд давеча на запасном пути — в нём не могло быть больше 20–22 товарных осей, — все наши вагоны — этих нечего бояться: они высоко стоят над полотном, а я лежал в растяжку, прижавшись к земле.

Но паровоз — зольник паровоза!.. Я знал три дежурных паровоза нашей станции как свой

карман.

Что «Виттекинд» пройдёт надо мною свободно, даже если бы я был толще, чем тогда, — это я знал; «Герман» тоже мог меня пощадить, — если у него в котле и тендере немного воды и угля и если балласт дороги, где я лежал, не слишком высоко насыпан щебнем. Но если это «Сириус», один из новых низких гигантов, — тогда я пропал! Ничего бы ещё, если бы просто, сразу убитый человек, а то медленно раздавленный, на клочки разорванный человек… Который же из этих паровозов теперь надвигался на меня?

Всё это я, в сущности, рассчитал и сообразил, пока падал, — когда же я упал — кончились всякие расчёты. Я только инстинктивно вытянулся, прижался к пути и сдерживал дыхание, стараясь сделаться как можно тоньше — точно хорёк, желающий вылезти из западни, — и считая проходящие надо мною оси. Каждый резкий «тик-так» колёс отчётливо выговаривал: «сквер-на-я-смерть, сквер-на-я-смерть»!

Вдруг меня схватывает что-то тяжёлое, — оно проходит, звякая и гремя по моей спине, холодное железо задевает шею, — это висит запасная цепь. Но вот оно приближается, — земля надо мною начинает дрожать всё сильнее и сильнее, — я вижу

искоса, хоть и зажал голову в сточную канавку между шпалами, как снег, рельсы и тени бегущих колёс всё ярче и ярче освещаются багровым светом — это светит огонь топки сквозь открытое поддувало…

Обнажённой голове и шее уже становится жарко. Шпалы вдавились в землю, рельс застонал и согнулся, земля сильно дрогнула подо мною, вот — пришло — Боже милосердый! — тут меня вдруг схватило за спину, рвануло вперёд… что-то с треском разорвалось… «раз-раз» с громом и звоном прокатился надо мною паровоз. Только земля всё ещё дрожала…

С чистого неба на меня опять падал мягкий, холодный снег… Как я опять очутился на ногах — я не знаю. Я стоял и смотрел вслед красным фонарям уходившего в закругление поезда, — они казались мне глазами самой смерти.

Я тогда ощупал себя — что такое сорвала с моего тела машина?! — и что же?! — не доставало только двух пуговиц у моего фирменного пальто.

Я дошёл до ближайшего стрелочника, взял у него фонарь и стал искать в снегу пуговицы…

Только когда я сидел уже в своей тёплой комнате и то лишнего сахару, то лишнего рому подбавлял в чашку с пуншем, а жена с удивле-

нием и беспокойством спросила меня: «что с тобою нынче? ты весь дрожишь и ничего не говоришь» — только тогда я опомнился наконец… Я показал Луизе пуговицы и рассказал ей всё, как было. «Видишь, жена, всего на эту пуговицу был я нынче от смерти!»

— Вот эти самые пуговицы, — я их всегда ношу с собою и буду носить, пока, наконец, смерть и в самом деле не придёт за мною.

Старый машинист расстегнул сюртук и вынул две металлические пуговицы с гербом, — он их носил на шнурке, на шее.

— Теперь вы знаете, почему я пожалел бедного русака, попавшего в зольник. Слушайте, однако, бьёт полночь…

— С Новым годом! С Новым годом! Дай Бог вам счастья и удачи ещё на сотни тысяч паровозо-вёрст!

Карл Эвальд

Рождество

Был рождественский сочельник в большом городе.

В современном городе… в столице с зубцами и башнями.

Вокруг города, примыкая к самым полям, лежали громадные предместья, где всё было бедно, грязно и безобразно.

Там чёрные фабричные трубы заволакивали своим дымом солнце на небе, и, когда раздавался паровой свисток, мужчины, женщины и дети целым муравейником высыпали на работу или на отдых. Где ютилась самая беднота, там процветали кабаки и трактиры, и отовсюду нёсся запах пива и пота.

Но в самом городе были красивые площади со статуями королей и граждан, были широкие улицы, по асфальту которых бесшумно катились кареты, и двигался поток человеческой толпы, и узкие переулки, где было темно и гадко, куда никто не шёл иначе как по делу, и мало кто шёл за хорошим делом.

Там были огромные дома с сотнями окон, блестящие магазины со всем, о чём только мо-

жет мечтать человеческое вожделение, театр и variétés.

И двадцать церковных башен высились в этом городе, и колокола на них звонили и утром, и вечером. Ибо много грешили люди в этом городе, много каялись и много молились.

Но в тот рождественский сочельник, о котором идёт речь, облака спустились так низко и были такие тяжёлые и чёрные, что солнце лишь с трудом могло напомнить людям о своём присутствии на небе.

И как только оно зашло, главные улицы города засверкали огнями из многих тысяч оконных рам. Во всех домах было светло, как среди белого дня, и только в некоторых отдельных местах царила ночная тьма. И человеческий поток уносился в эти тёмные места и исчезал — так что ничего нельзя было видеть, а только слышны были шаги — и снова выплывал, так что свет падал прямо на лица и делал их странно белыми, с горящими глазами.

Никогда не бывало так много народу на улицах, как в этот сумеречный час. Люди бегали по магазинам, покупали, меняли, торговались. Никого среди них не было, кто бы не торопился, никого, кто не нёс бы цветов и рождественских

подарков.

Добрые знакомые пожимали друг другу руку и быстро шли дальше… ведь все они спешили к своей семье, каждый в свой дом, где кухарки варили и жарили, а дети сидели в тёмной комнате, не отрывая глаз от двери, которая должна была показать им все чудеса рождественского вечера.

Нельзя было видеть, у кого много денег, у кого их мало, так как все покупали и в своих покупках несли к себе домой радость.

Но можно было видеть, кто одинок, и кто обременён большою семьёй. Ибо в спокойном благосостоянии одних было заметно сегодня чувство лишения и печаль других о том, что они не могут придать больше блеска празднику для себя и своих домашних, смягчилась сиянием счастья.

И пока одни спешили домой, являлись им за смену другие, которым надо было ещё сделать покупки, так что толпа не уменьшалась. Но громадные, с частым переплётом окна церквей осветились, призывая к службе Божией, и весь город огласился пением псалмов и рокотом органов.

* * *

Посреди людской тесноты шёл человек, которого никто не знал.

Никто не слышал его шагов, и никто не говорил с ним. Нельзя было понять, стар он или молод. Никто не мог бы на следующий день сказать, каков он был на вид, но многие из тех, что это видели, помнили это до самого своего смертного часа. Он не смотрел ни на кого. Но всем, кто обращал на него внимание, казалось, что он смотрит на них. Иногда какой-нибудь прохожий вдруг поднимал глаза, как будто что-то заставляло его взглянуть, и останавливался и смотрел вслед незнакомцу, потому что не мог не смотреть.

Одет он был бедно. И тем не менее один важный господин вытянулся перед ним в струнку среди улицы и так низко поклонился ему, как будто это был сам король. Важный господин не знал, почему он это сделал, а незнакомец нисколько не смутился от оказанной ему чести.

Случилось, что господский экипаж совсем было наехал на него, и среди давки он не мог посторониться. Тогда он поднял руку, и горячие кони остановились, точно вкопанные. А толстый, весь в галунах, кучер, сидевший на козлах, не

стал кричать на него, а молча посмотрел и тихо поехал дальше.

Был и такой случай, что маленький ребёнок перебежал от матери к нему, взял его за руку и шёл с ним некоторое время.

* * *

Незнакомец шёл медленно то одной дорогой, то другой, смотря по тому, куда его увлекала толпа.

И вот случилось, что он вошёл в большой магазин.

Это было громадное помещение, потолок которого поддерживали стройные колонны; прилавки магазина гнулись под тяжестью шёлка, драгоценных тканей и всего того, что употребляют женщины, чтоб скрыть собственную похоть и разжигать мужскую.

Сотни приказчиков кланялись, улыбались и расхваливали товар, бегали по лестницам, вынимали вещи и откладывали их в сторону, чтоб угодить покупателям. Но ещё несравненно большее число людей, все, что теснились на улице, и всё это почти исключительно женщины, устремлялись толпой в магазин и алчными взорами смотрели на всё это великолепие.

Что им и подумать нельзя было купить, то им

нужно было хотя бы только потрогать. И при этом у них дрожали руки и блестели глаза.

В глубине магазина стоял его владелец и развертывал ценное кружево. Так было дорого это кружево, что суммы, которую стоил один аршин его, было бы достаточно, чтоб прокормить человека в течение целого года. И самые богатые женщины столпились вокруг стола, на котором оно лежало, и торговали его.

* * *

Сюда-то и подошёл незнакомец, и так были все поглощены кружевом, что никто не обратил на него внимания.

Но вот оказалось, что один кусок самого драгоценного кружева пропал.

Женщины теснились вокруг прилавка и отступали назад, пока приказчики всюду искали исчезнувший товар и не находили его. Купец рассердился и сказал, что его украла какая-нибудь из этих женщин. Они стали озираться друг на друга, и каждая из них думала на другую.

Тогда купец обратился к той, которой он как раз перед тем показывал кружево, и она, знатная дама, побледнела под его взглядом и стала протестовать.

Но так как он стоял на своём, а все другие от неё отшатнулись, то в своём безвыходном положении она указала на незнакомца в его бедной одежде и сказала, что это, наверно, сделал он.

Всем показалось, что иначе и быть не может. Все стали кричать: зачем же он и пришёл сюда, как не для того, чтоб украсть?

Да… он вор… рождественский вор…

На их крики сбежался отовсюду народ, и незнакомца схватили, чтоб не дать ему ускользнуть. Кто-то кинулся за полицией, и все стали обшаривать свои карманы, чтоб убедиться в том, что все их деньги целы.

Незнакомец ничего не сказал, но как бы в изнеможении опустился на стоявший возле него стул. Но как только он сел, купец с криком набросился на него и вытащил у него из кармана своё драгоценное кружево.

В ту же минуту в магазине показался полицейский. Все стали наперебой рассказывать ему о случившемся, и он схватил вора за руку и грубо приказал ему следовать за ним.

Но человек, которого никто не знал, осторожно высвободил свою руку, поднялся со стула и сказал:

— Друг, я этого не делал.

И как только он произнёс эти слова, по всему громадному помещению прошёл трепет. Все слышали их, и никто не возвысил голоса, чтобы вновь обвинить его. Полицейский приложил руку к козырьку и с сокрушением сказал:

— Господин, я только по долгу службы… не гневайтесь на меня.

Но незнакомец обернулся и взглянул на женщину, которая его обвинила. Затем он сказал полицейскому:

— Я пойду с тобой.

Они вышли из магазина, и все последовали за ними.

Ибо никто не думал больше о покупках.

Приказчики побросали аршины и ножницы и присоединились к процессии. Даже купец забыл о своём гневе и об убытке, который ему нанесли покинувшие его покупательницы. Он стоял и пристально смотрел вслед незнакомцу; когда же тот скрылся у него из виду, он запер магазин и тоже побежал.

Но по мере того, как толпа шла по улице, она так разрослась, что ничего подобного никто не мог и припомнить.

Во главе шёл незнакомец, такой спокойный, как будто он был предводителем, а немного по-

зади полицейский. И спереди, и сзади, и с боков двигалось несметное множество людей, плечо с плечом шедших друг возле друга.

Все, кто только встречался с этой процессией, тотчас же шли за ней. Все спрашивали и получали в ответ, что это ведут в участок рождественского вора. Никто не мог себе сказать, почему он идёт с этим шествием: ведь дома ждал каждого рождественский ужин, а воров в городе по нескольку ловили каждый день.

Никто не кричал, никто не говорил громко. Не слышно было никаких звуков, кроме гула многотысячных шагов по каменной мостовой. Глаза всех были устремлены на человека, которого никто не знал, и маленьких детей поднимали вверх, чтоб они могли его видеть.

И когда эта странная процессия проходила по городу, в душе каждого без исключения участника шевелилось смутное воспоминание, что когда-то он уже видел это.

Или читал… или слышал и верил… когда-то… давным-давно.

Но никто не мог сказать, что же это, собственно, было.

Когда они пришли к участку, толпа успела так разрастись, что все высшие и низшие полицей-

ские чины схватили свои дубинки и опрометью бросились на улицу, думая, что город горит или ж взбунтовался. И безмолвные остановились они перед тем, что увидели.

Начальник, которого никто не знал, беспрепятственно прошёл среди них в ворота. Там он обернулся и окинул взором всё это множество людей. И такое было у него лицо, что все головы наклонились вперёд, чтоб внимать словам, исходящим из его уст.

Но пока он стоял так, громкий крик раздался внезапно на улице.

Снова раздался он, и затем ещё третий раз, но уже ближе, и сильное движение сделалось заметно в толпе.

С трудом протискивалась какая-то женщина сквозь передние ряды, и, когда ей удалось проложить себе дорогу, она с прямой и гордой осанкой остановилась на мгновение перед незнакомцем и вперила в него безумные глаза. Все видели, как порвало в клочья её дорогое платье и как разметались по ветру её волосы.

Затем она высоко воздела руки и с диким воплем бросилась ниц перед ним:

— — Он невиновен… это я украла и обвинила его!

В толпе раздался тысячеголосый крик, и все стали тесниться вперёд, чтоб увидеть женщину, которую многие знали.

Но незнакомец поднял её и сказал:

— — Дайте ей уйти в мире… ради меня.

И он пошёл вниз по улице.

Но полицейский обнажил голову, и все расступились и стояли, не отрывая от него взоров, пока он не исчез.

* * *

В тот рождественский сочельник, о котором мы рассказываем, жизнь постепенно затихла на улицах и замерла.

Все лавки были заперты, и где прежде было светло, как днём, там мерцали лишь тусклые фонари. Кругом, во всех домах свет лился в окна от зажжённых ёлок. В некоторых были спущены шторы, и видны были лишь тени тех, что ходили вокруг ёлки и пели. Но тень показывала, как сверкает ёлка. В других же можно было видеть всё в полном блеске.

Если кто останавливался и прислушивался, то навстречу ему звучали изнутри рождественские песнопения. Можно было различить голос отца, густой и низкий, и голос матери, в котором

чувствовалась усталость, потому что в будние вечера она стольких детей убаюкивала своей песней. А детские голоса были так звонки в своём рождественском ликовании!

Но немного оставалось теперь людей на улице, когда были дома все те, у которых был свой очаг.

И по мере того, как проходил вечер, пение замолкало и свечи догорали. Потом в домах сделалось тихо. Маленькие дети спали с раскрасневшимися щёчками, и им снились блаженные рождественские сны. Старшие сидели в торжественном молчании, радостные и утомлённые. На улице городовой держал свой одинокий караул и с нетерпением ждал смены.

В это время человек, которого никто не знал, пришёл на подъезд красивого и роскошного дома.

Он остановился в первом этаже и позвонил у двери. Вышел лакей, и незнакомец сказал ему, что желает говорить с епископом.

Лакей посмотрел на его бедную одежду, вынул из кармана грош и подал ему. Потом он запер дверь и заложил предохранительную цепь. Но незнакомец позвонил вторично, и когда лакей вышел к нему, он снова сказал, что желает говорить с епископом.

Тогда вышла епископша; она шла медленно, потому что была очень грузная, и ноги у неё болели.

Она кроткими глазами взглянула на незнакомца и спросила, неужели это так необходимо. Ведь сегодня канун Рождества. Епископ так утомился, а завтра он должен произносить проповедь в соборе. Затем она дала ему крону и пожелала ему радостно встретить праздник.

Но незнакомец стоял на своём, и тогда его впустили в кабинет епископа.

Он остановился в дверях со шляпой в руке.

На столе стояла лампа под шёлковым абажуром, и во всех углах комнаты было темно. Окна были завешены тяжёлыми гардинами; со всех стен блестели золотые заголовки на сотнях и сотнях книжных корешков.

У стола сидел епископ в покойном кресле, и на коленях у него лежала одна из книг величайшего поэта его страны. Он был в великолепном халате, с бархатной ермолкой на голове и в новых сафьяновых туфлях.

Но он не читал. Очки его были подняты на лоб, а руки сложены на животе. Епископ спал.

Вдруг он проснулся и привскочил в кресле. Он устремил неподвижный взгляд на незнакомца,

спустил очки на нос и снова стал неподвижно смотреть. Потом он со вздохом встал и направился к нему.

— Что вам нужно? — спросил он.

Незнакомец, продолжая стоять у двери, сказал:

— Я беден.

Епископ вынул кошелек и стал в нём искать. В комнате царила тишина, и слышно было, как звенели деньги. Он отыскал монету в две кроны и подал её незнакомцу.

— Идите теперь домой и хорошенько отпразднуйте сочельник, — сказал он, устало зевая. — Да не забудьте воздать благодарение Богу, источнику всяких благ.

Незнакомец стоял с двумя кронами в руке, ничего не говоря и как будто и не собираясь уходить.

— Прощайте, — сказал епископ. — Мне надо теперь подумать о своей проповеди.

Сказав это, он пошёл обратно к креслу.

Но в тот же миг ему показалось, что кто-то дотронулся до него. Он вздрогнул и испуганно обернулся.

Незнакомец стоял посреди комнаты, и епископу почудилось, будто он стал теперь выше.

— Дай мне твой халат, — сказал он и протянул

руку.

Епископ выпрямился — он был высокий и статный. Глаза его сверкнули из-за очков.

— Ты говоришь «ты» епископу? — сказал он.

Незнакомец не двинулся с места и снова сказал:

— Дай мне твой халат. Брат у меня мерзнёт.

И вдруг епископ почувствовал, что у него как-то странно сжалось сердце — он сам не мог сказать почему. Но ему захотелось, чтоб незнакомец скорей ушёл.

— Я позову сейчас Ганса, — сказал он. — Ганс даст вам какой-нибудь мой старый сюртук. Ваш брат не должен мёрзнуть. Ведь он так же и мой брат, как истинно то, что все мы — дети Божии. Я сейчас позову Ганса.

Он подобрал свой халат и хотел идти, но ему показалось, что он не может. Незнакомец точно наполнял собой всю комнату и заграждал ему путь. И снова произнёс он:

— Дай мне твой халат.

Тогда у епископа затряслись и подогнулись колени, так что он должен был схватиться за кресло. Он склонил голову, как жалкий грешник, просящий помилования.

— Я получил его от своей Регины, — сказал

он, — от епископши…

Он робко взглянул на незнакомца, но тот всё ещё стоял с протянутой рукой. И взор у него был величавый и твёрдый. Епископ опустил глаза и стал перебирать пальцами складки своего халата.

— Она мне подарила его сегодня… каждое Рождество она дарит мне халат, — сказал он, и голос его зазвучал нежностью при мысли о длинном ряде счастливых годов, прожитых им с женой. — Она шьёт их сама, собственными руками.

Он снова умолк, и в комнате сделалось тихо. Он чувствовал, что близок к обмороку, и ему стоило страшных усилий поднять голову и взглянуть на незнакомца.

Но незнакомец исчез.

Епископ схватился рукой за лоб и устремился в глубь комнаты. Он не слыхал шагов незнакомца, не слыхал звука затворяющейся двери.

Потом он бросился в переднюю, но там не было никого. Он стал звонить и звать: епископша, Ганс, обе служанки — все сбежались. Он велел им скорей догнать человека, который только что ушёл, и привести его обратно. Ганс и обе девушки тотчас же бросились за ним.

Епископ упал на стул.

— Боже милосердный! Регина! — сказал он.

Жена поцеловала его в лоб и заплакала от страха, потому что никогда не видала его таким. И он не стал с ней говорить, а сидел молча, не отрывая глаз от двери.

Люди вернулись и доложили, что улица совсем пуста и нигде не видать незнакомца. Тогда епископ с трудом поднялся со стула и приказал им выйти из комнаты. Он сам посмотрел, плотно ли затворена дверь. Потом он снова сел, так как не мог стоять, и сказал:

— Регина… я должен идти… я должен найти этого человека… должен найти его ради спасения своей души.

Прерывистым голосом рассказал он ей то, что случилось. И когда он дошёл до конца, она прижала руки к груди и заплакала. Но глаза её сияли.

— Иоганнес, — оказала она, — я всё понимаю.

Она тихо плакала. Епископ пугливо смотрел на неё, как бы боясь того, что она ему скажет. Потом он вышел в коридор за своим верхним платьем и снова вернулся.

— Иоганнес… ведь я так часто думала об этом. На меня находил какой-то ужасный страх… и тоска тихая о прошлом… Тогда, в былые дни, в пасторате, когда нивы золотились благодатной

рожью и в наших комнатах звенели молодость и радость… И то, что было после того… как раз тогда, когда мы сделались так счастливы и так богаты, когда король осыпал тебя милостями и твоя паства благоговейно внимала тебе. Это жгло мне сердце, Иоганесс… и днём, и ночью… И когда ты стоял пред алтарем…

Она продолжала говорить, помогая в то же время ему одеваться:

— Если б я могла пойти с тобой, Иоганнес! Но Господь послал мне крест, со своими больными ногами я не могу спуститься с лестницы… Ах, если б это случилось с нами, когда мы были молоды!.. Но слава Богу, что это случилось всё-таки теперь, когда мы не покинули ещё этот мир!

Дрожащими руками застегнула она ему шубу и проводила его на лестницу. Ни она не заметила, ни сам епископ, что на голове у него только ермолка.

* * *

Пока епископ бегал по улице, человек, которого никто не знал, стоял на широком мосту над рекой.

Он стоял на самой середине, где балюстрада поднималась всего выше и увенчивалась огром-

ным фонарём в пять рожков. Он смотрел на воду, которая струилась и журчала, между тем как местами вспыхивала при свете волна и падала снова. И лицо его было кротко и печально.

Но пока он стоял так, кто-то схватил его за его одежду.

Он наклонился и заглянул в красное и распухшее лицо. Оно высовывалось из ниши, где, казалось бы, и собаке негде было бы поместиться. И человек, которому принадлежало это лицо, смотрел на незнакомца налитыми кровью, горячечными глазами и говорил заплетающимся языком:

— Дайте, господин, на стаканчик водки.

Незнакомец велел ему встать. И он выполз из своей норы и, шатаясь, прислонился к балюстраде. Его обтрёпанная шляпа слетела у него с головы и упала в воду, но он этого не заметил. От него несло водкой, и он, икая, выставил свой грязный кулак.

— На стаканчик, добрый господин… ради великого праздника.

Тогда незнакомец положил ему руку на плечо и сказал:

— Иди домой, к Катерине.

Пьяница отвёл рукой со лба свои всклоко-

ченные волосы, стал протирать глаза, как бы усиливаясь стряхнуть с себя сон.

— К Катерине… — медленно произнёс он. — Катерина… и дети…

— Иди же к ним, — снова сказал незнакомец.

Но тот задрожал всем телом и начал плакать.

— Господин… ведь я там уж много месяцев не был… Катерина умерла… Она была больна, когда я от неё ушёл… Ведь я избил её, господин… ведь я отнял у неё перину и заложил… И детские вещи тоже…

Он вдруг взглянул в лицо незнакомцу и сразу отрезвел, и пришёл в себя.

— Господин! Господин!.. жива Катерина?.. дома она?.. жива она?..

И, не дожидаясь ответа, он пошёл, как человек, нашедший себе цель. Но тотчас же снова обернулся и почтительно спросил: — Кто вы, господин?

Но незнакомец прошёл мимо него, не ответив.

* * *

Он направился через мост в предместье, где было особенно темно.

По длинным, прямым улицам, глубоким и смрадным, как колодцы, через площади, где был нагромождён строевой лес и камень, мимо часов-

ни с большими тусклыми оконными стёклами он пришёл к стоявшему возле маленького красного домика.

Он позвонил. И пока он ждал, чтоб ему отворили, он слышал изнутри женский голос, говоривший: «Вот и папа пришёл!» Слышал, как запрыгали и засмеялись дети.

Когда дверь отперли, дети принялись плакать, потому что явился не тот, кого они ждали. Но мать, молодая женщина, с бледным лицом, поспешила их успокоить и пригласила незнакомца войти.

— Священник сейчас вернётся.

Незнакомец вошёл и сел в комнате священника.

Здесь стоял лишь сосновый письменный стол, старый чёрный диван и несколько стульев. На окне были тонкие красные занавески. По стенам висели большие, ярко раскрашенные картины из Священного Писания: Мария Магдалина и Спаситель на Кресте и Воскрешение Лазаря.

Дверь в смежную комнату была отворена, и там жена и дети священника сидели за накрытым столом.

— Папа у бедных, — говорила мать, — у больных. Ведь вы же это знаете. Ведь я рассказывала

вам об этом. А потому нам и надо подождать. Так Богу угодно.

Она обернулась к незнакомцу, сидевшему в соседней комнате, и сказала:

— Они никак не дождутся ёлки. Они так ещё малы. Не могут понять.

Прошёл час, а незнакомец всё так же тихо сидел на стуле. Дети заснули, положив головки на скатерть. Жена священника сидела, скрестив руки на груди, с опущенным в землю взором.

Пришёл священник.

Он остановился в дверях, высокий и тонкий, с большими строгими глазами.

— Мир вам! — сказал он. — Вы хотите говорить со мной?

Незнакомец не поднял головы, но произнёс: «Я голоден».

Священник затворил дверь в столовую и начал ходить взад и вперёд, сложив руки у подбородка. Потом он остановился и нагнулся, чтоб поймать взгляд незнакомца.

— Голодны? — сказал он. — Это значит, что вам нужно рисовой каши, жареного гуся и оладьев с яблоками? Так?

Незнакомец поднял голову, посмотрел на него и спокойно кивнул. Но священник высоко под-

нял сплетённые руки и стал ломать их, так что пальцы захрустели.

— Бог да будет милостив к нам, грешникам! — воскликнул он.

Затем он опустил руки, сел и устремил глаза в пространство.

— У меня душа болит от всего этого голода и всей этой еды, которые я видел, — заговорил он спустя немного. — Я ходил из дому в дом, пока меня носили ноги, и всех их насыщал. Они благодарили и благословляли меня, и так как они знали, что я священник, то славословили Бога передо мной. Я был также у богатых, и при виде меня они тотчас же спешили воздать хвалу Богу. Но ни одного богача я не встретил, который не попомнил бы приготовить праздничный стол к сегодняшнему вечеру, и ни одного не видел бедняка, который забыл бы о своём голоде ради Иисуса Назарянина.

Незнакомец ничего не возразил. В комнате было совсем тихо. Затем священник поднял голову и печально сказал:

— Вон там стоит рождественский ужин для меня и моей семьи. Я роздал всё, что у меня было; только это и осталось. Но, наверно, хватит и на тебя. Поди туда, наполни своё чрево и затем уходи.

— Позволь мне остаться здесь и поужинать вместе с тобой, — сказал незнакомец.

Священник взглянул на него, затем встал и подошёл к нему вплотную.

— Ты святой?! — тихо спросил он.

— Я не знаю, что ты хочешь этим сказать, — отвечал незнакомец.

— Тогда бери, что тебе нужно, и уходи! — сказал священник и отступил от него назад. — В эту ночь только святой может оставаться у меня в доме. Я не знаю, кто ты… не спрашиваю об этом. Иди с миром… но только уходи… уходи!

Незнакомец поднялся с места и направился к священнику.

«Не суди, да не будешь судим!» — произнёс он.

И от звука его голоса священник задрожал всем телом. Но он сейчас же оправился и строго сказал:

— Ты хочешь легкомысленно извращать слова Господни. Знаешь ли ты, когда ты умрёшь? Устами моими Господь к тебе глаголет… быть может, в последний раз. Дни… я знаю это! Я дерзаю это сказать! Дерзаю бросить тебе проклятие. Во имя Господа обещаю тебе адский огонь и вечные муки, если в сей же час не освятит тебя Иисус Христос!

В тот же миг во взоре незнакомца зажглось пламя, в сравнении с которым огонь, горевший в глазах священника, был как свет свечи перед молнией. Священник отшатнулся и простёр вперёд дрожащие руки.

Но незнакомец ударил его по устам, и он с грохотом повалился на пол.

Дверь отворилась, и вошла его жена. Она уложила его на диван, принесла холодной воды и стала смачивать ему голову. Она делала это так спокойно, что видно было, что ей не раз и раньше приходилось это делать.

Спустя некоторое время священник открыл плаза и обвёл комнату блуждающим взором; потом он присел на диван и сложил руки на коленях.

— Анна, — сказал он, и голос его дрожал. — Где незнакомец?

— Здесь нет никого, — ответила она и подсела к нему. — Никого не было, когда я вошла.

Он с усилием встал и взял её за руку.

— Пойдём, Анна, — сказал он, — он, наверно, где-нибудь здесь.

Она покачала головой, но обошла с ним комнаты. Она заставила его остановиться и указала ему на детей, сидевших вокруг стола и спавших.

Но он не видел их. Он увлёк её за собой через входную дверь на улицу, но там не было никого.

— Анна, — сказал он, — пойдём со мной. Мы должны его найти.

— Пойдём в комнаты, — сказала она и глубоко вздохнула. — Ты болен, здесь нет никого.

Тогда он тихим голосом рассказал ей, что случилось.

— Мы должны найти его, Анна, — повторил он и так стиснул её руку, что она вскрикнула от боли. — Он ударил меня своей десницей и сломил мою силу… Пойдём… пойдём… пока он ещё не ушёл от нас.

— Тебе это привиделось, — с горечью сказала она. — Ты опять болен, как в прошлом году, и ты умрёшь и оставишь меня одну с детьми, если не будешь рассудителен и не станешь беречь своё здоровье.

Священник выпрямился, и глаза его засияли.

— Да… мне было видение! — воскликнул он. — Его очи ослепили меня, а теперь я вижу так ясно, как никогда ещё не видел. Я был болен, теперь же я здоров. Анна… Анна моя… пойдём и отыщем его.

Она вздрогнула от холода и отошла назад, за дверь.

— Нет! — ответила она, скрестив руки на своей плоской груди. — Будет теперь! Ступай ты, куда ты должен идти, если уж нельзя иначе. Я зажгу ёлку бедным малюткам. Час за часом дожидались они, пока ты был у своих бедных. Будет теперь.

Он стоял среди улицы и протягивал к ней руки:

— Анна!..

— Нет… нет… нет… — жёстко ответила она. — Мне нечего больше дать твоему Богу. Он отнял у меня молодость и радость… моё здоровье отнял и твоё… и наше счастье… Иди… иди, куда тебе угодно. Я останусь со своими детьми.

Она вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Священник простоял с минуту, простирая руки, потом побежал по улицам без шляпы и без верхнего платья и исчез в ночной тьме.

* * *

Теперь остаётся только рассказать, как кончилась эта рождественская ночь. А кончилась она так, что из всех тех, кто её пережил, ни у кого не могла она изгладиться из памяти.

Многие лежали дома в постели и спали и ничего не знали об этом. Зато многие другие проходили всю ночь, ища человека, которого никто не знал.

Ибо не только те, о которых здесь рассказано, видели его; их было много, много больше. И всем им казалось, что они не успокоятся, пока ещё раз не увидят его, ибо все они знали про себя, что не такими они были, какими должны бы быть.

Поэтому и епископ, и священник, и женщина, обвинявшие незнакомца, все они бегали по улицам, смешавшись со множеством других. В толпе был также и пропойца с своей Катериной, которая крепко держала его за руку и не захотела останавливаться, пока не поблагодарит того, кто заставил опомниться её мужа. И купец был там, и полицейский. И что всего удивительней: никто из них не чувствовал усталости, ни молодые, ни старые. Ибо они знали, что всё, чего они домогались доныне, ничто в сравнении с этим, и что если они достигнут того, к чему теперь стремятся, их жизнь будет богаче, чем прежде, и смерть они встретят без страха.

И не было теперь между ними различий, так что епископ и пропойца свидетельствовали друг перед другом о том, что слышали и видели. Епископ так говорил, что пропойца слушал его, а слова пропойцы казались высокоучёному князю церкви мудростью. Они все понимали друг друга, как никогда до сих пор, потому что каждый из

них забыл о своём уме и для всех только одно лишь было нужно.

Им всем представлялось, будто они бродят по незнакомым местам. Они не узнавали своего города и своих домов, где занимались своим делом и жили своей жизнью до этой ночи. Они не узнавали друг друга, так что всякая приязнь и всякая вражда, существовавшая раньше между ними, теперь умерла и была позабыта. И тем не менее все они друг друга знали и доверчиво делились своими чувствами, потому что все были проникнуты одной и той же надеждой.

Всякий раз, как подходил кто-нибудь новый, они спрашивали, не видал ли он незнакомца, и затем шествие, всё разрастаясь, двигалось дальше, торжественное и безмолвное. И тот, кто к нему присоединялся, забывал о всех своих прочих делах и становился участником тайного ужаса и тайной радости, наполнявших других.

На исходе ночи толпа остановилась на самой большой площади города, и вот тут случилось, что колокола всех церквей начали звонить.

Все в процессии стали слушать, но никто не мог объяснить себе, какая связь между шествием и звоном и по чьему повелению звонят колокола.

И тогда как в обычное время каждый из них

внимал призыву лишь своей собственной церкви, в эту святую рождественскую ночь им показалось, что каждый колокол несёт им всем одну общую весть. Лютеране и католики, евреи, баптисты и ирвингиане, и те, что молились в тайниках души, — все те, что преклоняли колено, потому что знали, что не могут стоять, — они не помнили в эту минуту, что побудило каждого из них построить свой отдельный храм, а чувствовали себя одной великой общиной и склоняли головы и внимали колокольному звону.

И пока они так стояли, и площадь была полна народу, и было темно, так что они едва различали лица друг друга, и никто не говорил, и все внимали звону, — внезапно раздался мощный голос:

— Он был среди нас!

Они стали оглядываться друг на друга, и никто не знал, откуда истёк этот голос.

Но когда он прозвучал, какой-то удивительный восторг объял всё это множество людей.

Многие упали на колени и плакали; многие стояли, выпрямившись во весь рост, с сияющими глазами. Некоторые громко молились; иные пели; иные закрывали лицо руками. Но все они были такими, какими не были ещё никогда.

Простояв некоторое время на площади, они

разошлись по своим домам и не могли заснуть.

Чарльз Диккенс

Рождественская песнь в прозе
Строфа I
Дух Марли

Начнём с того, что Марли умер. В этом нет ни малейшего сомнения. Акт о его погребении был подписан пастором, причетником, гробовщиком и распорядителем похорон. Сам Скрудж подписал этот акт. А имя Скруджа служило ручательством на бирже за всё, к чему бы он ни приложил руку…

Итак, старик Марли был мёртв, как дверной гвоздь.

Заметьте — я не хочу сказать, будто я самолично убедился, что есть нечто особенно мёртвое в дверном гвозде. Я-то склонен считать самой мёртвой вещью из всех железных изделий скорее гробовой гвоздь. Но в сравнениях — мудрость отцов наших, и ради спокойствия отечества не подобает мне недостойными руками касаться их.

Позвольте же поэтому ещё настойчивее повторить, что Марли был мёртв именно как дверной гвоздь.

Знал ли Скрудж об этом? Разумеется, знал. Да и могло ли быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами в продолжение, я не знаю, скольких лет. Скрудж был его единственным душеприказчиком, единственным распорядителем, единственным преемником, единственным наследником, единственным другом, единственным поминальщиком, и, однако, Скрудж был вовсе не так ужасно поражён этим печальным событием, чтобы не остаться даже в самый день похорон истым дельцом и не ознаменовать его одной, несомненно, хорошей сделкой.

Но упоминание о похоронах Марли заставляет меня вернуться к тому, с чего я начал. Нет ни малейшего сомнения, что Марли умер. И этого никак нельзя забывать, иначе не будет ничего удивительного в истории, которую я намереваюсь рассказать. Ведь если бы мы не были твёрдо убеждены в том, что отец Гамлета умер до начала представления, то и его скитания по ночам, при восточном ветре, вдоль стен его же собственного замка были бы ничуть не замечательнее поступка любого господина средних лет, ночью вышедшего прогуляться куда-нибудь — ну, скажем, на кладбище св. Павла, — только затем, чтобы поразить своего слабоумного сына.

Скрудж не стёр с вывески имя старика Марли: оно и после смерти его ещё долго красовалось над дверью конторы: «Скрудж и Марли». Новички звали Скруджа иногда Скруджем, а иногда и Марли, и он отзывался и на то, и на другое имя. О, это было совершенно безразлично для него — для этого старого грешника и скряги, для этой жилы и паука, для этих завидущих глаз и загребущих рук! Твёрдый и острый, как кремень, из которого никакая сталь не выбивала никогда ни единой благородной искры, он был скрытен, сдержан и замкнут в самом себе, как устрица в своей раковине. Внутренний холод оледенил его поблёкшие черты, заострил его нос, покрыл морщинами щёки, сделал походку мертвенной, глаза — красными, тонкие губы — синими, и резко сказывался в его скрипучем голосе. Точно заиндевели его голова, его брови, его колючий подбородок. Он вносил с собою этот холод повсюду; холодом дышала его контора — и такой же была она и в рождественские дни.

Окружающее мало влияло на Скруджа. Не согревало его лето, не знобила зима. Никакой ветер не был так лют, никакой дождь не был так упорен, как он, никакой дождь не шёл так упрямо, как шёл Скрудж к своей цели, никакая адская погода

не могла сломить его. Ливень, вьюга, град, крупа имели только одно преимущество перед ним. Они часто бывали щедры, Скрудж — никогда. Никогда и никто не останавливал его на улице радостным восклицанием: «Как поживаете, дорогой мой! Когда же вы заглянете ко мне?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руки, ни один ребёнок не решался спросить у него, который час, ни единая душа не осведомилась у него ни разу за всю его жизнь, как пройти на ту или другую улицу. Даже собаки слепцов, казалось, раскусили Скруджа и, завидя его, тащили своих хозяев под ворота и во дворы, виляли хвостами и как будто хотели сказать: «Лучше вовсе не иметь глаз, хозяин, чем иметь такие глаза».

Но какое дело было до этого Скруджу? Это-то ему и нравилось. Пробираться по тесной жизненной тропе, пренебрегая всяким человеческим чувством, — вот что, по словам людей знающих, было целью Скруджа.

Однажды — в один из лучших дней в году, в сочельник, — старый Скрудж работал в своей конторе. Стояла ледяная, туманная погода, и он слышал, как снаружи люди, отдуваясь, бегали взад и вперёд, колотили себя руками и топали, стараясь согреться.

На городской башне только что пробило три часа, но было уже совсем темно: с самого утра стояли сумерки, и в окнах соседних контор красноватыми пятнами мерцали сквозь бурую мглу свечи. Туман проникал в каждую щель, в каждую замочную скважину и был так густ, что противоположные дома казались призраками, хотя двор был очень узок. Глядя на это грязное облако, опускавшееся всё ниже и всё омрачавшее, можно было подумать, что природа на глазах у всех затевает что-то страшное, огромное.

Дверь своей комнаты Скрудж не затворял, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за своим помощником, переписывавшим письма в маленькой, угрюмой и сырой каморке рядом. Невелик был огонёк в камине Скруджа, а у писца он был и того меньше: подкинуть угля нельзя было, — Скрудж держал угольный ящик в своей комнате. Как только писец брался за лопатку, Скрудж останавливал его замечанием, что им, кажется, придётся скоро расстаться. И писец закутал шею своим белым шарфом и попытался было согреться у свечки, в чём, однако, не имея пылкого воображения, потерпел неудачу.

— С праздником, дядя, с радостью! Дай вам Бог всех благ земных! — раздался чей-то весёлый

голос.

То крикнул племянник Скруджа, так внезапно бросившийся ему на шею, что Скрудж только тут заметил его появление.

— Гм!.. — отозвался Скрудж. — Вздор!

Племянник так разгорячился от быстрой ходьбы на морозе и туману, что его красивое лицо пылало, глаза искрились, и от дыхания шёл пар.

— Это Рождество-то вздор, дядя? — воскликнул он. — Вы, конечно, шутите?

— Нисколько, — сказал Скрудж. — С радостью! Какое ты имеешь право радоваться? Какое основание?

— Но тогда, — весело возразил племянник, — какое право имеете вы быть печальным? Какое основание имеете вы быть мрачным? Вы достаточно богаты.

Скрудж, не найдясь, что ответить, повторил только: «Гм!.. Вздор!»

— Не сердитесь, дядя! — сказал племянник.

— Как же мне не сердиться, — отозвался дядя, — когда я живу среди таких дураков, как ты? С радостью, с Рождеством! Отстань ты от меня со своим Рождеством! Что такое для тебя Рождество, как не время расплаты по счетам при совершенно пустом кармане, как не день, когда ты вдруг вспо-

минаешь, что постарел ещё на год и не сделался богаче ни на йоту, как не срок подвести балансы и найти во всех графах, за все двенадцать месяцев дефицит? Будь моя воля, — продолжал Скрудж, с негодованием, — я бы каждого идиота, бегающего с подобными поздравлениями, сварил бы вместе с его рождественским пудингом и воткнул бы в его могилу остролистовый кол! Непременно бы так и сделал!

— Дядя! — возразил племянник.

— Племянник! — перебил его Скрудж строго. — Справляй Рождество по-своему, а мне позволь справлять его, как мне хочется.

— Справлять! — воскликнул племянник. — Но ведь вы его совсем не справляете!

— Ну, так и позволь мне совсем не справлять его, — сказал Скрудж. — А ты справляй себе на здоровье! Много пользы извлёк ты из этих празднований!

— Мог бы извлечь, — отозвался племянник, — но смею сказать, что я никогда не стремился к этому. Я только всегда был убеждён, всегда думал, что Рождество, помимо священных воспоминаний, если только можно отделить от него эти воспоминания, — есть время хорошее — время добра, всепрощения, милосердия, ра-

дости, единственное время во всём году, когда кажется, что широко раскрыто каждое сердце, когда считают каждого, даже стоящего ниже себя, равноправным спутником по дороге к могиле, а не существом иной породы, которому подобает идти другим путём. И поэтому, дядя, я верю, что Рождество, которое не принесло мне ещё ни полушки, всё-таки принесло и будет приносить много пользы, и говорю: да благословит его Бог!

Писец в своей сырой каморке не выдержал и зааплодировал, но спохватился и стал мешать уголья в камине, причём погасил в нём и последнюю слабую искру.

— Ещё один звук, — сказал Скрудж, — и вы отпразднуете ваше Рождество, потеряв место. Вы выдающийся оратор, сэр, — прибавил он, обращаясь к племяннику. — Удивляюсь, почему вы не в парламенте.

— Не гневайтесь, дядя! Слушайте, приходите к нам завтра обедать.

Скрудж в ответ на это послал его к чёрту.

— Да что с вами? — воскликнул племянник. — За что вы сердитесь на меня?

— Зачем ты женился? — сказал Скрудж.

— Потому что влюбился.

— Потому что влюбился! — проворчал Скрудж

таким тоном, точно это было ещё более нелепо, чем поздравление с праздником. — До свиданья!

— Дядя, но вы ведь и до моей женитьбы никогда не заглядывали ко мне. Почему же вы ссылаетесь на это теперь?

— До свиданья! — сказал Скрудж.

— Но нет, мне ничего не надо от вас, я ничего у вас не прошу, — почему же мы не можем быть друзьями?

— До свиданья! — повторил Скрудж.

— Мне от всей души жаль, что вы так упрямы. Между нами никогда не было никакой ссоры, виновником которой являлся бы я. Ради праздника я и теперь протянул вам руку и сохраню праздничное настроение до конца. С праздником, дядя, с праздником!

— До свиданья! — сказал Скрудж.

— И с счастливым Новым годом!

— До свиданья! — сказал Скрудж.

Однако племянник вышел из конторы, так и не сказав ему ни единого неприятного слова. В дверях он остановился, чтобы поздравить и писца, который, хоть и окоченел, был всё-таки теплее Скруджа и сердечно отозвался на приветствие.

— Вот ещё такой же умник, — проговорил Скрудж, услышав это, — господин с жалованием

в пятнадцать шиллингов в неделю, с супругой, детками, радующийся праздникам! Я, кажется, переселюсь в Бедлам!

А писец, затворяя дверь за племянником Скруджа, впустил ещё двух господ. Это были почтенные, прилично одетые люди, которые, сняв шляпы, вошли в контору с книгами и бумагами и вежливо поклонились.

— Скрудж и Марли, не правда ли? — сказал один из них, справляясь со списком. — Я имею честь говорить с господином Скруджем или господином Марли?

— Господин Марли умер ровно семь лет тому назад, — возразил Скрудж. — Нынче как раз годовщина его смерти.

— Мы не сомневаемся, что его щедрость целиком перешла к пережившему его компаньону, — сказал господин, протягивая Скруджу подписной лист.

И сказал совершеннейшую правду, ибо Скрудж и Марли стоили друг друга. При зловещем слове «щедрость» Скрудж нахмурился, покачал головой и подал лист обратно.

— В эти праздничные дни, — сказал господин, взяв перо в руки, — ещё более, чем всегда, подобает нам заботиться о бедных и сирых, участь коих

заслуживает теперь особенного сострадания. Тысячи людей терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч лишены самых простых удобств.

— Разве нет тюрем? — опросил Скрудж.

— Их чересчур много, — сказал господин, снова кладя перо на стол.

— А работных домов? — продолжал Скрудж. — Разве они уже закрыты?

— Нет, — отозвался господин, — но об этом можно только сожалеть.

— Разве приюты и законы о призрении бедных бездействуют? — спросил Скрудж.

— Напротив, у них очень много работы.

— О! А я было испугался, заключив из ваших первых слов, что они почему-нибудь приостановили свою общеполезную деятельность. Очень рад слышать противное.

— Убеждение в том, что эти учреждения не оправдывают своего назначения и не дают должной пищи ни душе, ни телу народа, побудило нас собрать по подписке сумму, необходимую для приобретения бедным пищи, питья и топлива. Время праздников наиболее подходит для этой цели, ибо теперь бедняки особенно резко чувствуют свою нужду, люди же состоятельные менее скупятся. Сколько прикажете записать от

вашего имени?

— Ничего не надо писать, — ответил Скрудж.

— Вы желаете остаться неизвестным?

— Я желаю, чтобы оставили меня в покое, — сказал Скрудж. — Вот и всё. С своей стороны, я содействую процветанию тех учреждений, о которых только что упоминал: они обходятся мне не дёшево; а посему пусть нуждающиеся отправляются туда.

— Многие из них охотнее умрут…

— И отлично сделают — по крайней мере, этим они уменьшат избыток народонаселения. Впрочем, извините меня, я тут ни при чём.

— Но могли бы быть при чём.

— Не моё это дело, — возразил Скрудж. — Для каждого вполне достаточно исполнять свои собственные дела и не вмешиваться в чужие. Я же и так неустанно забочусь о своих. До свиданья, господа.

Убедившись, что настаивать бесполезно, посетители удалились.

Довольный собою и в необычно шутливом настроении, Скрудж снова принялся за работу.

Между тем мрак и туман сделались так густы, что появились факельщики, предлагавшие освещать дорогу проезжавшим экипажам. Старинная

церковная башня, с готической амбразуры которой всегда косился на Скруджа мрачный викинг, сделалась невидимой; колокол вызванивал теперь часы и четверти где-то в облаках, и каждый удар его сопровождался дребезжанием, точно там, в вышине, стучали в чьей-то окоченевшей от холода голове зубы. Становилось всё холоднее. Против конторы Скруджа рабочие чинили газовые трубы, разведя большой огонь, и около него столпилась кучка оборванцев и мальчишек: они с наслаждением грели руки и мигали глазами перед пламенем. Водопроводный кран, который забыли запереть, изливал воду, превращавшуюся в лёд. Свет из магазинов, в которых ветви и ягоды остролиста потрескивали от жары оконных ламп, озарял багрянцем лица проходящих. Лавки с битой птицей и овощами совершенно преобразились, представляя дивное зрелище, и трудно было поверить, что со всем этим великолепием связывалось такое скучное слово, как торговля.

Лорд-мэр в своём дворце отдавал приказания пятидесяти поварам и дворецким отпраздновать Рождество сообразно его сану. И даже маленький портной, которого он оштрафовал в прошлый понедельник на пять шиллингов за пьянство и буйство на улице, мастерил у себя на чердаке

пудинг, в то время как его тщедушная жена, захватив с собой ребёнка, пошла в мясную лавку.

Туман густел, холод становился всё более пронизывающим, колючим, нестерпимым. Если бы добрый св. Дунстан не своим обычным орудием, а этим холодом хватил бы по носу дьявола, тот, наверное, взвыл бы как следует. Некий юный обладатель крохотного носика, до которого лютый мороз добрался, как собака до кости, прильнул к замочной скважине Скруджа с намерением пропеть Рождественскую песнь. Но при первых же звуках:

Пусть вас Бог благословит,

Пусть ничто вас не печалит, —

Скрудж с такой энергией схватил линейку, что певец в ужасе бросился бежать, предоставляя замочную скважину туману и морозу, столь близкому душе Скруджа.

Наконец, наступил час запирать контору. С неохотой слёз Скрудж со своего кресла, подавая тем знак давно ожидавшему этой минуты писцу, что занятия окончены, и тот мгновенно потушил свечу и надел шляпу.

— Вы, вероятно, хотите освободиться от занятий на весь завтрашний день? — сказал Скрудж.

— Если это удобно, сэр.

— Это не только неудобно, это ещё и несправедливо, — сказал Скрудж. — Ведь если бы я вычел в этот день полкроны, я убеждён, что вы сочли бы себя обиженным.

Писец слабо улыбнулся.

— И однако, — сказал Скрудж, — вы и не думаете, что я могу быть обсчитан, платя вам даром жалование.

Писец заметил, что это бывает только раз в году.

— Слабое оправдание, чтобы тащить из моего кармана каждое двадцать пятое декабря, — сказал Скрудж, застёгивая пальто вплоть до подбородка. — Но так и быть, весь завтрашний день в вашем распоряжении. Послезавтра утром приходите пораньше.

Писец пообещал, и Скрудж, ворча, вышел. Писец в одну минуту запер контору и, размахивая длиннейшими концами своего шарфа (пальто у него совсем не было), прокатился в честь Сочельника раз двадцать по льду в Коригилле вслед за шеренгой мальчишек и во весь дух пустился домой.

Скрудж съел свой скучный обед в своём скучном трактире и, перечитав все газеты, скоротав

остаток вечера за счетоводной книгой, отправился домой спать. Он жил там же, где когда-то жил его покойный компаньон. То была анфилада комнат в мрачном и громадном здании на заднем дворе, которое наводило на мысль, что оно попало сюда ещё во дни своей молодости, играя в прятки с другими домами, да так и осталось, не найдя выхода.

Здание было старое и угрюмое. Никто, кроме Скруджа, не жил в нём, ибо все другие комнаты отдавались в наём под конторы. Двор был так темен, что даже Скрудж, отлично знавший каждый его камень, с трудом, ощупью, пробирался по нему. В морозном тумане, окутывавшем старинные чёрные ворота, чудился сам Гений Зимы, стороживший их в печальном раздумье.

Поистине, в молотке, висевшем у двери, не было ничего странного, разве только то, что он отличался большими размерами. Сам Скрудж видел его ежедневно утром и вечером, всё время своего пребывания здесь. При том же Скрудж, как и все обитатели лондонского Сити, не исключая и старшин, и членов городского совета и цехов, — да простится мне великая дерзость! — не обладал ни малейшим воображением.

Не надо также забывать и того, что до сегодняш-

него дня, когда Скрудж упомянул имя Марли, он ни разу не вспомнил своего усопшего друга.

А поэтому пусть, кто может, объяснит мне теперь, как произошло то, что, вкладывая ключ в замок, Скрудж увидел в молотке, хотя последний не подвергся ровно никакой перемене, лицо Марли.

Лицо Марли! Оно не было окутано темнотой, подобно другим предметам на дворе, но, окружённое зловещим сиянием, напоминало испорченного морского рака в тёмном погребе. Лицо не было сурово или искажено гневом, но было именно такое, как при жизни Марли, даже с его очками, приподнятыми на лоб. Волосы странно шевелились, точно от дуновения горячего воздуха, широко раскрытые и неподвижные глаза, свинцовый цвет лица — всё это делало его ужасным; но главный ужас всё-таки скрывался не в самом лице или выражении его, а в чём-то постороннем, непостижимом.

Видение тотчас же снова становилось молотком, как только Скрудж пристально вглядывался в него.

Было бы неправдой сказать, что Скрудж не испугался и не ощутил волнения, забытого им с самых детских лет. Однако после некоторого

колебания он решительно взялся за ключ, крепко повернув его, и, войдя в комнату, тотчас зажёг свечу.

Помедлив в нерешительности несколько мгновений, прежде чем запереть дверь, он осторожно оглянулся, точно боясь увидеть за дверью косичку Марли. Но за дверью не было ничего, кроме винтов и гаек молотка. И, издав неопределённый звук, Скрудж крепко захлопнул дверь.

Стук, подобно грому, раскатился по всему дому. Каждая комната в верхнем этаже дома и каждая бочка в винном погребе отвечали ему. Заперев дверь, Скрудж медленно прошёл через сени вверх по лестнице, на ходу поправляя свечу.

По этой лестнице можно было бы провести погребальную колесницу, поставив её поперек, дышлом к стене, а дверцами к перилам, причём осталось бы ещё свободное пространство. Может быть, это и заставило Скруджа вообразить, что он видит во мраке погребальную колесницу, которая двигается сама собою. Полдюжины газовых фонарей с улицы слабо освещали сени, и, следовательно, при свете сальной свечи Скруджа в них было довольно темно.

Скрудж шёл вверх, мало беспокоясь об этом. Темнота стоит дёшево, а это Скрудж очень ценил.

Однако, прежде чем запереть за собой тяжёлую дверь, он под влиянием воспоминания о лице Марли прошёлся по комнатам — посмотреть, всё ли в исправности.

В гостиной, спальне, чулане всё было как следует: никого не было ни под столом, ни под диваном, маленький огонёк тлел за решёткой камина. Вот ложка, кастрюлька с овсянкой в устье камина, — и никого ни под постелью, ни в стенном шкафу, ни в шлафроке, как-то подозрительно висевшем на стене. Всё как всегда: чулан, каминная решётка, старые башмаки, две корзины для рыбы, умывальник на трёх ножках, кочерга. Успокоившись, Скрудж запер дверь, повернув ключ два раза, чего прежде никогда не делал.

Предохранив себя таким образом от нападения, Скрудж снял галстук, надел шлафрок, туфли и ночной колпак и сел перед огнём, чтобы поесть овсянки.

Для такой лютой ночи этот огонёк был чересчур мал. Скрудж должен был сесть очень близко к нему и нагнуться, чтобы от этой горсточки углей почувствовать едва уловимое дыхание теплоты.

Старинный камин, сложенный, вероятно, давным-давно голландским купцом, был обложен голландскими кафелями, украшенными рисунка-

ми из Св. Писания. Тут были Каин и Авель, дочери фараона, царица Савская, вестники-ангелы, парящие в воздухе на облаках, похожих на перины, Авраам, Валтасар и апостолы, отправляющиеся в плавание на лодках, напоминающих соусники, и сотни других забавных фигур. И однако лицо Марли, умершего семь лет тому назад, поглощало всё. Если бы каждый чистый кафель мог запечатлеть на своей поверхности образ, составленный из разрозненных представлений Скруджа, то на каждом таком кафеле появилось бы изображение головы старика Марли.

— Вздор всё это! — сказал Скрудж и, пройдясь по комнате взад и вперёд, снова сел.

Откинув голову на спинку стула, он случайно взглянул на старый, остававшийся без употребления колокольчик, предназначенный неизвестно для какой цели и проведённый в комнату в верхнем этаже дома. Смотря на него, Скрудж с безграничным удивлением и необъяснимым ужасом заметил, что колокольчик начал качаться. Сначала он качался так тихо, что звука почти не было, но потом зазвонил громче, и тотчас же к нему присоединились все колокольчики в доме.

Быть может, звон длился и не более минуты, но Скруджу эта минута показалась часом. Коло-

кольчики замолкли все сразу, а вслед за ними откуда-то из глубины послышался шум, подобный лязгу тяжёлой цепи, которую тащили по бочкам в винном погребе. Скрудж тотчас же припомнил те рассказы, в которых говорилось, что в тех домах, где водится нечистая сила, появлению духов сопутствует лязг влекомых цепей.

Дверь погреба распахнулась с глухим шумом настежь, и Скрудж услышал, как подземный шум, усиливаясь, поднимался вверх по лестнице, прямо по направлению к его двери.

— Всё это вздор! — сказал Скрудж. — Я не верю в эту чертовщину.

Однако он даже изменился в лице, когда дух, пройдя сквозь тяжёлую дверь, очутился в комнате перед его глазами.

При его появлении едва тлевший огонёк подпрыгнул, как будто хотел воскликнуть: «Я знаю его! Это дух Марли!» И точно — это было его лицо, сам Марли со своей косичкой, в своём обычном жилете, узких брюках и сапогах с торчащими кисточками, которые шевелились так же, как его косичка, полы сюртука и волосы на голове. Цепь, которую он влачил за собою, опоясывала его. Она была длинна и извивалась как хвост. Скрудж хорошо заметил, что она была сделана из денеж-

ных ящиков, ключей, висячих замков, счётных книг, разных документов и тяжёлых стальных кошельков. Тело призрака было прозрачно, и Скрудж, зорко приглядевшись к нему, мог видеть сквозь жилет две пуговицы сзади на сюртуке.

Скрудж часто слышал, как говорили, что у Марли нет ничего внутри, но доныне он не верил этому. Не поверил даже и теперь, хотя дух был прозрачен и стоял перед ним. Что-то леденящее, чувствовал он, исходило от его мёртвых глаз. Однако он хорошо заметил то, чего не замечал раньше, — ткань платка в складках, окутывавшего его голову и подбородок. Но всё ещё не доверяя своим чувствам, он пытался бороться с ними.

— Что вам от меня нужно? — сказал Скрудж едко и холодно, как всегда. — Чего вы хотите?

— Многого! — ответил голос, голос самого Марли.

— Кто вы?

— Спросите лучше, кто я был?

— Кто вы были? — сказал Скрудж громче. — Для духа вы слишком требовательны. (Скрудж хотел было употребить выражение «придирчивы», как более подходящее.)

— При жизни я был вашим компаньоном, Яковом Марли.

— Но, может быть, вы сядете? — спросил Скрудж, во все глаза глядя на него.

— Могу и сесть.

— Пожалуйста.

Скрудж сказал это, чтобы узнать, будет ли в состоянии призрак сесть; он чувствовал, что в противном случае предстояло бы трудное объяснение.

Но дух сел с другой стороны камина с таким видом, как будто делал это постоянно.

— Вы не верите в меня? — спросил дух.

— Не верю, — сказал Скрудж.

— Какого же иного доказательства, помимо ваших чувств, вы хотите, чтобы убедиться в моём существовании?

— Не знаю, — сказал Скрудж.

— Почему же вы сомневаетесь в своих чувствах?

— Потому, — сказал Скрудж, — что всякий пустяк действует на них. Маленькое расстройство желудка — и они уже обманывают. Может быть, и вы — просто недоваренный кусок мяса, немножко горчицы, ломтик сыра, гнилая картофелина. Дело-то, может быть, скорее сводится к какому-нибудь соусу, чем к могиле.

Скрудж совсем не любил шуток, и в данный мо-

мент ему нисколько не было весело, но он шутил для того, чтобы таким путём отвлечь своё внимание и подавить страх, ибо даже самый голос духа заставлял его дрожать до мозга костей. Для него было невыразимой мукой просидеть молча хотя бы одно мгновение, смотря в эти стеклянные, неподвижные глаза.

Но всего ужаснее была адская атмосфера, окружавшая призрак. Хотя Скрудж и не чувствовал её, но ему было видно, как у духа, сидевшего совершенно неподвижно, колебались, точно под дуновением горячего пара из печки, волосы, полы сюртука, косичка.

— Видите ли вы эту зубочистку, — сказал Скрудж, быстро возвращаясь к нападению, побуждаемый теми же чувствами, и желая хоть на мгновение отвратить от себя взгляд призрака.

— Да, — ответил призрак…

— Но вы однако не смотрите на неё, — сказал Скрудж.

— Да, не смотрю, но вижу.

— Отлично, — сказал Скрудж. — Так вот, стоит мне проглотить её, и всю жизнь меня будет преследовать легион демонов, — плод моего воображения. Вздор! Повторяю, что всё это вздор!

При этих словах дух испустил такой страшный

вопль и потряс цепью с таким заунывным звоном, что Скрудж едва удержался на стуле и чуть не упал в обморок. Но ужас его ещё более усилился, когда дух снял со своей головы и подбородка повязку, точно в комнатах было слишком жарко, и его нижняя челюсть отвалилась на грудь.

Закрыв лицо руками, Скрудж упал на колени:

— Пощади меня, страшный призрак! Зачем ты тревожишь меня?

— Раб суеты земной, человек, — воскликнул дух, — веришь ли ты в меня?

— Верю, — сказал Скрудж. — Я должен верить. Но зачем духи блуждают по земле? Зачем они являются мне?

— Так должно быть, — возразил призрак, — дух, живущий в каждом человеке, если этот дух был скрыт при жизни, осуждён скитаться после смерти среди своих близких и друзей и — увы! — созерцать то невозвратно потерянное, что могло дать ему счастье.

И тут призрак снова испустил вопль и потряс цепью, ломая свои бестелесные руки.

— Вы в цепях, — сказал Скрудж, дрожа. — Скажите, почему?

— Я ношу цепь, которую сковал при жизни, — ответил дух. — Я ковал её звено за звеном, ярд за

ярдом. Я ношу её не по своему доброму желанию. Неужели её устройство удивляет тебя?

Скрудж дрожал всё сильнее и сильнее.

— Разве ты не желал бы знать длину и тяжесть цепи, которую ты носишь, — продолжал дух. — Она была длинна и тяжела семь лет тому назад, но с тех пор сделалась значительно длиннее. Она очень тяжела.

Скрудж посмотрел вокруг себя, нет ли и на нём железного каната в пятьдесят или шестьдесят сажен, но ничего не увидел.

— Яков, — воскликнул он. — Старый Яков Марли! Скажи мне что-нибудь в утешение, Яков!

— Это не в моей власти, — ответил дух. — Утешение даётся не таким людям, как ты, и исходит от вестников иной страны, Эбензар Скрудж! Я же не могу сказать и того, что хотел бы сказать. Мне позволено очень немногое. Я не могу отдыхать, медлить, оставаться на одном и том же месте. Заметь, что во время моей земной жизни я даже мысленно не преступал границы нашей меняльной норы, оставаясь безучастным ко всему, что было вне её. Теперь же передо мной лежит утомительный путь.

Всякий раз, как Скрудж задумывался, он имел обыкновение закладывать руки в карманы брюк.

Обдумывая то, что сказал дух, он сделал это и теперь, но не встал с колен и не поднял глаз.

— Ты, должно быть, не очень торопился, — заметил Скрудж тоном делового человека, но покорно и почтительно.

— Да, — сказал дух.

— Ты умер семь лет тому назад, — задумчиво сказал Скрудж. — И всё время странствуешь?

— Да, — сказал дух, — странствую, не зная отдыха и покоя, в вечных терзаниях совести.

— Но быстро ли совершаешь ты свои перелёты? — спросил Скрудж.

— На крыльях ветра, — ответил дух.

— В семь лет ты мог облететь бездны пространства, — сказал Скрудж.

Услышав это, дух снова испустил вопль и так страшно зазвенел цепью в мёртвом молчании ночи, что полицейский имел бы полное право обвинить его в нарушении тишины и общественного спокойствия.

— О пленник, закованный в двойные цепи, — воскликнул призрак, — и ты не знал, что потребны целые годы непрестанного труда существ, одарённых бессмертной душой, для того чтобы на земле восторжествовало добро. Ты не знал, что для христианской души на её тесной земной

стезе жизнь слишком коротка, чтобы сделать всё добро, которое возможно? Не знал, что никакое раскаяние, как бы продолжительно оно ни было, не может вознаградить за прошедшее, не может загладить вины того, кто при жизни упустил столько благоприятных случаев, чтобы творить благо? Однако я был таким, именно таким.

— Но ты всегда был отличным дельцом, — сказал Скрудж, начиная применять слова духа к самому себе.

— Дельцом! — воскликнул дух, снова ломая руки. — Счастье человеческое должно было быть моей деятельностью, любовь к ближним, милосердие, кротость и доброжелательство — на это, только на это должна была бы быть направлена она. Дела должны были бы быть только каплей в необъятном океане моих обязанностей.

И он вытянул цепь во всю длину распростёртых рук, точно она была причиной его теперь уже бесполезной скорби, и снова тяжко уронил её.

— Теперь, на исходе года, — продолжал он, — мои мучения стали ещё горше. О, зачем я ходил в толпе подобных мне с опущенными глазами и не обратил их к благословенной звезде, приведшей волхвов к вертепу нищих! Разве не было вертепов нищих, к которым её свет мог привести и меня!

Поражённый Скрудж, слушая это, задрожал всем телом.

— Слушай, слушай меня, — вскричал дух, — срок мой краток.

— Я слушаю, — сказал Скрудж, — но прошу тебя, Яков, не будь так жесток ко мне и говори проще.

— Как случилось, что я являюсь перед тобой в таком образе, я не знаю. Я ничего не могу сказать тебе об этом. Много, много дней я пребывал невидимым возле тебя.

Эта новость была не весьма приятна Скруджу… Он отёр пот со лба.

— Наказание моё было ещё тяжелее от этого, — продолжал дух. — Сегодня ночью я здесь затем, чтобы предупредить тебя, что ты, Эбензар, имеешь ещё возможность при моей помощи избежать моей участи.

— Благодарю тебя. Ты всегда был моим лучшим другом.

— К тебе явятся три духа, — сказал призрак.

Лицо Скруджа вытянулось почти так же, как у духа.

— Это и есть та возможность, о которой ты говоришь, Яков? — спросил Скрудж прерывающимся голосом.

— Да.

— По-моему, — сказал Скрудж, — лучше, если бы не было совсем этой возможности!

— Без посещения духов ты не можешь избежать того пути, по которому шёл я. Жди первого духа завтра, как только ударит колокол.

— Не могут ли они прийти все сразу? — попробовал было вывернуться Скрудж.

— Второго духа ожидай в следующую ночь в этот же самый час. В третью ночь тебя посетит третий дух, когда замолкнет колокол, отбивающий полночь. Не смотри так на меня и запомни наше свидание. Ради твоего собственного спасения, ты более не увидишь меня.

Произнеся эти слова, дух снова взял со стола платок и повязал его вокруг головы. По стуку зубов Скрудж понял, что челюсти его снова сомкнулись. Он решился поднять глаза и увидел, что неземной гость стоит перед ним лицом к лицу: цепь обвивала его стан и руки.

Призрак стал медленно пятиться назад, к окну, которое при каждом его шаге понемногу растворялось, а когда призрак достиг окна, оно широко распахнулось. Призрак сделал знак, чтобы Скрудж приблизился, — и Скрудж повиновался.

Когда между ними осталось не более двух шагов, дух Марли поднял руку, запретив ему

подходить ближе. Побуждаемый скорее страхом и удивлением, чем послушанием, Скрудж остановился, и в ту же минуту, как только призрак поднял руку, в воздухе пронёсся смутный шум — бессвязный ропот, плач, стоны раскаяния, невыразимо скорбный вопль. Послушав их мгновение, призрак присоединил свой голос к этому похоронному пению и стал постепенно растворяться в холодном мраке ночи.

Скрудж последовал за ним к окну: так непобедимо было любопытство. И выглянул из окна.

Всё воздушное пространство наполнилось призраками, тревожно метавшимися во все стороны и стонущими. На каждом призраке была такая же цепь, как и на духе Марли. Ни одного не было без цепи, а некоторые, — быть может, преступные члены правительства, — были скованы вместе. Многих из них Скрудж знал при жизни. Например, он отлично знал старого духа в белом жилете, тащившего за собой чудовищный железный ящик, привязанный к щиколотке. Призрак жалобно кричал, не будучи в состоянии помочь несчастной женщине с младенцем, сидевшим внизу, на пороге двери. Было ясно, что самые ужасные муки призраков заключались в том, что они не были в силах сделать то добро, которое

хотели бы сделать.

Туман ли окутал призраки или они растаяли в тумане, Скрудж не мог бы сказать уверенно. Но вот голоса их смолкли, все сразу, и ночь опять стала такою же, какой была при возвращении Скруджа домой.

Скрудж запер окно и осмотрел дверь, через которую вошёл дух. Она была заперта на двойной замок, повешенный им же самим, задвижка осталась нетронутой. Он попытался было сказать «вздор», но остановился на первом же слоге, и от волнений ли, которые он испытал, от усталости ли, оттого ли, что заглянул в неведомый мир или же вследствие разговора с духом, позднего часа, потребности в отдыхе, но он тотчас же подошёл к кровати и мгновенно, даже не раздеваясь, заснул.

Строфа II
Первый дух

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из алькова, он едва мог отличить прозрачное пятно окна от темных окон своей комнаты. Он зорко всматривался в тёмноту своими острыми, как у хорька, глазами и слушал, как

колокола на соседней церкви отбивали часы.

К его великому изумлению, тяжёлый колокол ударил шесть раз, потом семь, восемь и так до двенадцати; затем всё смолкло. Двенадцать! А когда он ложился, был ведь третий час. Очевидно, часы шли неправильно. Должно быть, ледяная сосулька попала в механизм. Двенадцать! Он дотронулся до пружины своих часов с репетицией, чтобы проверить те нелепые часы. Маленький быстрый пульс его часов пробил двенадцать и остановился.

— Как! Этого не может быть! — сказал Скрудж. — Не может быть, чтобы я проспал весь день, да ещё и порядочную часть следующей ночи! Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь произошло с солнцем и чтобы сейчас был полдень!

С этой тревожной мыслью он слез с кровати и ощупью добрался до окна. Чтобы увидеть что-нибудь, он был принужден рукавом своего халата протереть обмёрзшее стекло. Но и тут он увидел не много! Он убедился только в том, что было очень тихо, туманно и чрезвычайно холодно. На улицах не было обычной суеты, бегущих пешеходов, что всегда бывало, когда день побеждал ночь и овладевал миром.

Скрудж снова лёг в постель, предаваясь раз-

мышлениям о случившемся, но не мог прийти ни к какому определённому решению. Чем более он думал, тем более запутывался, и чем более старался не думать, тем более думал.

Дух Марли окончательно сбил его с толку. Как только, после зрелого размышления, он решал, что всё это был сон, его мысль, подобно отпущенной упругой пружине, отлетала назад к первому положению, и снова предстояло решить: был ли это сон или нет?

В таком состоянии Скрудж лежал до тех пор, пока колокола не пробили ещё три четверти и он вдруг не вспомнил, что согласно предсказанию Марли первый дух должен явиться, когда колокол пробьёт час. Он решил не спать и дождаться часа. Такое решение было, конечно, самое благоразумное, так как заснуть для него было теперь так же невозможно, как подняться на небо.

Время шло так медленно, что Скрудж подумал, что, задремав, он пропустил бой часов. Наконец, до его насторожившегося слуха донеслось:

— Динь-дон!

— Четверть, — сказал Скрудж, начиная считать.

— Динь-дон!

— Половина, — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Три четверти, — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Вот и час, — сказал Скрудж, — и ничего нет.

Он произнёс эти слова, прежде чем колокол пробил час, — пробил как-то глухо, пусто и заунывно. В ту же минуту комната озарилась светом, и точно чья-то рука раздвинула занавески его постели в разные стороны, и именно те занавески, к которым было обращено его лицо, а не занавески в ногах или сзади. Как только они распахнулись, Скрудж приподнялся немного и в таком положении встретился с неземным гостем, который, открывая их, находился так близко к нему, как я в эту минуту мысленно нахожусь возле вас, читатель.

Это было странное существо, похожее на ребёнка и вместе с тем на старика, ибо было видимо сквозь какую-то сверхъестественную среду, удалявшую и уменьшавшую его. Его волосы падали на плечи, были седы, как у старца, но на нежном лице его не было ни единой морщины. Руки его были очень длинны, мускулисты, и в них чувствовалась гигантская сила. Ноги и ступни имели изящную форму и были голы, как руки. Он был облечён в тунику ослепительной белизны; а его

стан был опоясан перевязью, сиявшей дивным блеском. В его руке была ветвь свежезелёного остролистника — эмблема зимы, — одежда же была украшена летними цветами. Но всего удивительнее было то, что от венца на его голове лились потоки света, ярко озарявшие всё вокруг, и, очевидно, для этого-то света предназначался большой колпак-гасильник, который дух держал под мышкой, чтобы употреблять его, когда хотел сделаться невидимым. Когда же Скрудж стал пристальнее присматриваться к призраку, то заметил ещё более странные особенности его. Пояс призрака искрился и блестел то в одной части, то в другой, и то, что сейчас было ярко освещено, через мгновение становилось тёмным, и вся фигура призрака ежесекундно менялась: то он имел одну руку, то одну ногу, то был с двадцатью ногами, то с двумя ногами без головы, то была голова, но без туловища: то та, то другая часть его бесследно исчезала в густом мраке. Но ещё удивительнее было то, что порою вся фигура призрака становилась ясной и отчётливой.

— Вы тот дух, появление которого было мне предсказано? — спросил Скрудж.

— Да.

Голос у духа был мягкий, нежный и такой ти-

хий, что, казалось, доносился издалека, хотя дух находился возле самого Скруджа.

— Кто вы? — спросил Скрудж.

— Я дух минувшего Рождества.

— Давно минувшего? — спросил Скрудж, рассматривая его.

— Нет, твоего последнего.

Может быть, Скрудж и сам не знал, почему у него явилось странное желание видеть духа в колпаке-гасильнике, но он всё-таки попросил духа надеть колпак.

— Как! — воскликнул дух. — Ты уже так скоро пожелал своими бренными руками погасить тот свет, который я распространяю? Тебе мало, что ты один из тех рабов страстей, ради которых я принужден долгие годы носить этот колпак, низко надвинув его на лоб?

Скрудж почтительно ответил, что вовсе не хотел его обидеть, что он никак не может понять, каким образом он мог служить причиной, заставившей духа носить колпак. Затем он осмелился спросить, что именно привело его сюда?

— Твое благополучие, — сказал дух.

Скрудж поблагодарил, но не мог удержаться от мысли, что спокойно проведённая ночь более способствовала бы этому благополучию. Но Дух

понял его мысль, ибо тотчас же сказал:

— И твоё спасение.

Сказав это, он протянул свою сильную руку и ласково коснулся Скруджа.

— Встань и следуй за мною.

Скрудж чувствовал, что было бы бесполезно сказать что-нибудь в своё оправдание, что дурная погода и поздний час не годятся для прогулок, что в постели тепло, а термометр стоит ниже нуля, что он слишком легко одет, — в туфлях, шлафроке и ночном колпаке, — и что он не здоров. Хотя прикосновение духа было нежно, как прикосновение руки женщины, оно, однако, не допускало сопротивления. И Скрудж встал, но, увидев, что дух направился к окну, схватил его за одежду.

— Я ведь смертный, — сказал он умоляющим голосом, — и могу упасть.

— Позволь только моей руке прикоснуться к тебе, — сказал дух, кладя свою руку на сердце Скруджа, — и ты будешь вне всякой опасности.

Произнеся эти слова, дух повёл Скруджа сквозь стену, и они очутились за городом на дороге, по обеим сторонам которой тянулись поля. Город исчез за ними совершенно бесследно, а вместе с ним исчезли и туман, и мрак. Был ясный, холодный зимний день, и земля была одета снежным

покровом.

— О Боже! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь кругом. — Здесь, в этом месте, я родился. Здесь я рос.

Дух кротко посмотрел на него. Нежное прикосновение его, тихое и мимолётное, тронуло старое сердце. Скрудж ощутил тысячу запахов в воздухе, из которых каждый был связан с тысячью мыслей, радостей, забот и надежд, давно, давно забытых.

— Твои губы дрожат, — сказал дух. — Что такое на твоей щеке?

Запинающимся голосом Скрудж проговорил, что это прыщик, и просил духа вести его туда, куда он захочет.

— Припоминаешь ли ты эту дорогу? — спросил дух.

— О, да, — с жаром произнёс Скрудж. — Я прошёл бы по ней с завязанными глазами.

— Странно. Прошло так много лет, а ты ещё не забыл её, — заметил дух. — Идём.

Они пошли. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Вдали показалось маленькое местечко с церковью, мостом и извивами реки. Они увидели несколько косматых пони, бегущих рысью по направлению к ним; на

пони сидели мальчики, которые перекликались с другими мальчиками, сидевшими рядом с фермерами в больших одноколках и тележках. Все были веселы и, перекликаясь, наполняли звонкими голосами и смехом широкий простор полей.

— Это только тени прошлого, — сказал дух. — Они не видят и не слышат нас.

Когда весёлые путешественники приблизились, Скрудж стал узнавать и каждого из них называть по имени. Почему он был так несказанно рад, видя их, почему блестели его холодные глаза, а сердце так сильно билось? Почему сердце наполнилось умилением, когда он слышал, как они поздравляли друг друга с праздником, расставаясь на перекрёстках и разъезжаясь в разные стороны? Что за дело было Скруджу до весёлого Рождества? Прочь эти весёлые праздники! Какую пользу они принесли ему?

— Школа ещё не совсем опустела, — сказал дух. — Там есть заброшенный одинокий ребёнок.

Скрудж сказал, что знает это, — и зарыдал.

Они свернули с большой дороги на хорошо памятную ему тропу и скоро приблизились к дому из потемневших красных кирпичей с небольшим куполом и колоколом в нём, с флюгером

на крыше. Это был большой, но уже начавший приходить в упадок дом. Стены обширных заброшенных служб были сыры и покрыты мхом, окна разбиты и ворота полуразрушены временем. Куры кудахтали и расхаживали в конюшнях, каретные сараи и навесы зарастали травой. Внутри дома также не было прежней роскоши; войдя в мрачные сени сквозь открытые двери, они увидели много комнат, пустых и холодных, с обломками мебели. Затхлый запах сырости и земли носился в воздухе, всё говорило о том, что обитатели дома часто не досыпают, встают ещё при свечах и живут впроголодь.

Дух и Скрудж прошли через сени к дверям во вторую половину дома. Она открылась, и их взорам представилась длинная печальная комната, которая от стоявших в ней простых еловых парт казалась ещё пустыннее. На одной из парт, около слабого огонька, сидел одинокий мальчик и читал. Скрудж опустился на скамью и, узнав в этом бедном и забытом ребёнке самого себя, заплакал.

Таинственное эхо в доме, писк и возня мыши за деревянной обшивкой стен, капанье капель из оттаявшего желоба, вздохи безлистого тополя, ленивый скрип качающейся двери в пустом амбаре и потрескивание в камине — всё это отзывалось

в сердце Скруджа и вызывало слёзы.

Дух, прикоснувшись к нему, показал на его двойника, — маленького мальчика, погружённого в чтение. Внезапно за окном появился кто-то в одежде чужестранца, явственно, точно живой, с топором, засунутым за пояс, ведущий осла, нагруженного дровами.

— Это Али-баба! — воскликнул Скрудж в восторге. — Добрый, старый, честный Али-баба, я узнаю его. Да! Да! Как-то на Рождество, когда вот этот забытый мальчик оставался здесь один, он, Али-баба, явился перед ним впервые точно в таком же виде, как теперь. Бедный мальчик! А вот и Валентин, — сказал Скрудж, — и дикий брат его Орзон, вот они! А как зовут того, которого, сонного, в одном белье, перенесли к воротам Дамаска? Разве ты не видал его? А слуга султана, которого духи перевернули вниз головой, — вон и он стоит на голове! Поделом ему! Не женись на принцессе!

Как удивились бы коллеги Скруджа, услышав его, увидев его оживлённое лицо, всю серьёзность своего характера расточающего на такие пустые предметы и говорящего совсем необычным голосом, голосом, похожим и на смех, и на крик.

— А вот и попугай! — воскликнул Скрудж. —

Зелёное туловище, жёлтый хвост и на макушке хохол, похожий на лист салата! Бедный Робинзон Крузо, как он назвал Робинзона, когда тот возвратился домой, после плавания вокруг острова. «Бедный Робинзон Крузо. — Где был ты, Робинзон Крузо?» Робинзон думал, что слышит это во сне, но, как известно, кричал попугай. А вот и Пятница, спасая свою жизнь, бежит к маленькой бухте! Голла! Гоп! Голла!

Затем, с быстротой, совсем несвойственной его характеру, Скрудж перебил самого себя, с грустью о самом себе воскликнул: «Бедный мальчик!» — и снова заплакал.

— Мне хочется, — пробормотал Скрудж, отирая обшлагом глаза, закладывая руки в карманы и осматриваясь, — мне хочется… но нет, уже слишком поздно…

— В чём дело? — спросил дух.

— Так, — отвечал Скрудж. — Ничего. Прошлым вечером к моей двери приходил какой-то мальчик и пел, так вот мне хотелось дать ему что-нибудь… Вот и всё…

Дух задумчиво улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Идём, взглянем на другой праздник!»

При этих словах двойник Скруджа увеличился, а комната сделалась темнее и грязнее; обшивка

её потрескалась, окна покосились, с потолка посыпалась штукатурка, обнаруживая голые дранки. Но как это случилось, Скрудж знал не лучше нас с вами. Однако он знал, что это так и должно быть, — чтобы он снова остался один, а другие мальчики ушли домой радостно встречать праздник.

Он уже не читал, но уныло ходил взад и вперёд. Посмотрев на духа, Скрудж печально покачал головой и беспокойно взглянул на дверь.

Дверь растворилась, и маленькая девочка, гораздо меньше мальчика, вбежала в комнату и, обвив его шею ручонками, осыпая его поцелуями, называла его милым, дорогим братом.

— Я пришла за тобою, милый брат, — сказала она. — Мы вместе поедем домой, — говорила она, хлопая маленькими ручками и приседая от смеха. — Я приехала, чтобы взять тебя домой, домой, мой!

— Домой, моя маленькая Фанни? — воскликнул мальчик.

— Да, — сказала в восторге девочка. — Домой навсегда, навсегда! Папа стал гораздо добрее, чем прежде, и у нас дома, как в раю. Однажды вечером, когда я должна была идти спать, он говорил со мною так ласково, что я осмелилась попросить

его послать меня за тобой в повозке. Он ответил: «Хорошо», — и послал меня за тобою в повозке. Ты теперь будешь настоящий мужчина, — сказала девочка, раскрывая глаза, — и никогда не вернёшься сюда. Мы будем веселиться вместе на праздниках.

— Ты говоришь совсем как взрослая, моя маленькая Фанни, — воскликнул мальчик.

Она захлопала в ладоши, засмеялась, стараясь достать до его головы, приподнялась на цыпочки, обняла его и снова засмеялась. Затем, с детской настойчивостью, она стала тащить его к двери, и он, не сопротивляясь, последовал за нею.

Какой-то страшный голос послышался в сенях: «Снесите вниз сундук Скруджа». Появился сам школьный учитель, который, посмотрев сухо и снисходительно на Скруджа, привёл его в большое смущение пожатием руки. Затем он повел его вместе с сестрой в холодную комнату, напоминающую старый колодец, где на стене висели ландкарты, а земной и небесный глобусы, стоявшие на окнах и обледеневшие, блестели, точно натёртые воском. Поставив на стол графин очень лёгкого вина, положив кусок очень тяжёлого пирога, он предложил детям полакомиться. А худощавого слугу он послал предложить стакан

этого вина извозчику, который поблагодарил и сказал, что если это вино то самое, которое он пил в прошлый раз, то он отказывается от него. Между тем чемодан Скруджа был привязан к крыше экипажа, и дети, радостно простясь с учителем, сели и поехали; быстро вертевшиеся колеса сбивали иней и снег с тёмной зелени деревьев.

— Она всегда была маленьким, хрупким существом, которое могло убить дуновение ветра, — сказал дух. — Но у неё было большое сердце!

— Да, это правда, — воскликнул Скрудж. — Ты прав. Я не отрицаю этого, дух. Нет, Боже меня сохрани!

— Она была замужем, — сказал дух, — и, кажется, у неё были дети.

— Один ребёнок, — сказал Скрудж.

— Да, твой племянник, — сказал дух.

Скрудж смутился и кратко ответил: «да».

Прошло не более мгновения с тех пор, как они оставили школу, но они уже очутились в самых бойких улицах города, где, как призраки, двигались прохожие, ехали тележки и кареты, перебивая путь друг у друга, — в самой сутолоке большого города. По убранству лавок было видно, что наступило Рождество. Был вечер, и улицы были ярко освещены. Дух остановился у двери

какого-то магазина и спросил Скруджа, знает ли он это место?

— Ещё бы, — сказал Скрудж. — Разве не здесь я учился?

Они вошли. При виде старого господина в парике, сидящего за высоким бюро, который, будь он выше на два дюйма, стукался бы головой о потолок, Скрудж, в сильном волнении, закричал:

— О, да это сам старик Феззивиг! Сам Феззивиг воскрес из мёртвых!

Старик Феззивиг положил перо и посмотрел на часы — часы показывали семь. Он потёр руки, оправил широкий жилет, засмеялся, трясясь всем телом, и крикнул плавным, звучным, сдобным, но приятным и весёлым голосом:

— Эй, вы, там! Эбензар! Дик!

Двойник Скруджа, молодой человек, живо явился, в сопровождении товарища, на зов.

— Так и есть, — Дик Вилкинс, — сказал Скрудж духу. — Это он. Дик очень любил меня. Дик, голубчик! Боже мой!

— Эй, вы, молодцы! — сказал Феззивиг. — Шабаш! На сегодня довольно! Ведь сегодня сочельник, Дик! Рождество завтра, Эбензар! Запирай ставни! — вскричал старик Феззивиг, громко хлопнув в ладоши. — Мигом! Живо!

Трудно себе представить ту стремительность, с какою друзья бросились на улицу за ставнями. Вы не успели бы сказать: раз, два, три, как уже ставни были на своих местах, вы не дошли бы ещё до шести, как уж были заложены болты, вы не досчитали бы до двенадцати, как молодцы уже вернулись в контору, дыша, точно скаковые лошади.

— Ну! — закричал Феззивиг, с удивительной ловкостью соскакивая со стула возле высокой конторки. — Убирайте все прочь, чтобы было как можно больше простора. Гоп! Гоп, Дик! Живей, Эбензар!

Всё долой! Всё было сделано в одно мгновение. Всё, что возможно, было мгновенно убрано и исчезло с глаз долой. Пол был подметён и полит водой, лампы оправлены, в камин подброшен уголь, и магазин стал уютен, тепел и сух, точно бальный зал.

Пришёл скрипач с нотами, устроился за конторкой и загудел, как полсотни расстроенных желудков. Пришла миссис Феззивиг, сплошная добродушная улыбка. Пришли три девицы Феззивиг, цветущие и хорошенькие. Пришли шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые люди и женщины, служившие

у Феззивига. Пришла служанка со своим двоюродным братом, булочником. Пришла кухарка с молочником, закадычным приятелем её брата. Пришёл мальчишка, живущий в доме через улицу, которого, как думали, хозяин держал впроголодь. Мальчишка старался спрятаться за девочку из соседнего дома, уши которой доказывали, что хозяйка любила драть их. Все вошли друг за другом: одни — застенчиво, другие — смело, одни — ловко, другие — неуклюже; одни — толкая, другие — таща друг друга; но все, какникак, всё-таки вошли. И все разом, все двадцать пар, пустились танцевать, выступая вперёд, отступая назад, проделывая, пара за парой, самые разнообразные фигуры. Наконец, старик Феззивиг захлопал в ладоши и, желая остановить танец, воскликнул: «Ловко! Молодцы!» Скрипач погрузил разгорячённое лицо в кружку портера, предназначенную для него. Потом, пренебрегая отдыхом, он снова появился на своём месте и тотчас же начал играть, хотя желающих танцевать ещё не было, — с таким видом, точно прежнего истомлённого скрипача отнесли домой на ставне, а это был новый, решившийся или превзойти того, или погибнуть.

Потом опять были танцы, дальше игра в фанты

и опять танцы. Напоследок подали пирожное, глинтвейн, большой кусок холодного ростбифа, кусок холодной варёной говядины, пирожки и пиво, пиво… Но главный эффект вечера был после жаркого и варёной говядины, когда скрипач (хитрая бестия — он знал дело гораздо лучше нас с вами!) ударил «Сэр Роджер де-Коверли». Тут старик Феззивиг с миссис Феззивиг выступили вперёд, приготовляясь начать танец, и притом первой парой; но ведь это не шутка! Ведь приходилось танцевать с двадцатью тремя-четырьмя парами, — и с народом, который вовсе не намеревался шутить, с народом, который хотел пуститься в пляс вовсю, а не прохаживаться.

Но если бы их было вдвое более, вчетверо даже, всё-таки старший Феззивиг и миссис Феззивиг были бы на высоте своей задачи. Миссис Феззивиг была достойной партнёршей своего мужа во всех отношениях. Если же эта похвала не достаточна, скажите мне более высокую, и я охотно употреблю её. Положительно, какой-то свет брызгал от икр Феззивига! Они сверкали во всякой фигуре танца. В какой-нибудь один момент вы ни за что не угадали бы, что будет в следующий! И когда старик Феззивиг и миссис Феззивиг проделали все па: «вперёд, назад, обе руки вашему партнеру,

поклон, реверанс, штопор, продевание нитки в иголку, и назад, на своё место», — Феззивиг подпрыгнул так, что, казалось, его ноги мигнули, и стал как вкопанный.

Когда часы пробили одиннадцать, семейный бал кончился, мистер Феззивиг с супругой заняли места по обеим сторонам двери, и, пожимая руки выходившим гостям, желали им весело провести праздник. Когда все, кроме двух учеников, ушли, хозяева точно так же простились и с ними. Весёлые голоса замерли, и юноши разошлись по своим кроватям в задней комнате.

Всё это время Скрудж вёл себя как человек, который не в своём рассудке. Его душа была погружена в созерцание своего двойника. Он смотрел, вспоминал, радовался всему и испытывал странное возбуждение. И только теперь, когда ясные лица его двойника и Дика отвернулись от него, он вспомнил про духа и почувствовал, что дух смотрит прямо на него и что на голове его горит яркий свет.

— Как мало надо для того, чтобы заслужить благодарность этих глупцов, — сказал дух.

— Мало! — повторил Скрудж.

Дух знаком заставил Скруджа прислушаться к разговору двух учеников, которые от всей души

расточали похвалы и благодарности Феззивигу. И, когда Скрудж послушал, дух сказал:

— Ну, не так ли? Истратил он несколько фунтов, ну, быть может, три, четыре фунта… Неужели этого достаточно, чтобы заслужить такие похвалы?

— Не в этом дело, — сказал Скрудж, задетый за живое его словами, и невольно говоря своим прежним юношеским тоном. — Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, нашу службу — радостным или несчастным бременем, наслаждением или тяжёлым трудом. Допустим, что его власть заключается в каком-либо слове или взгляде — вещах столь ничтожных, незначительных и неуловимых, — но так что же? Счастье, которое он даёт, так велико, что равняется стоимости целого состояния.

Он почувствовал взгляд духа и остановился.

— Что такое? — спросил дух.

— Ничего особенного, — сказал Скрудж.

— Как будто что-то случилось с вами, — настаивал дух.

— Нет, — сказал Скрудж. — Нет, мне бы хотелось сказать теперь два-три слова моему писцу. Вот и всё.

Когда он говорил это, его двойник загасил

лампы, и Скрудж и дух опять очутились под открытым небом.

— У меня остаётся мало времени, — заметил дух. — Скорее!

Слова эти не относились ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого мог видеть дух, но действие их тотчас же сказалось, — Скрудж снова увидел своего двойника. Теперь он был старше, в самом расцвете лет. Черты его лица не были ещё так жестки и грубы, как в последние годы, но лицо уже носило признаки забот и скупости. Глаза его бегали беспокойно и жадно, что говорило о глубоко вкоренившейся страсти, которая пойдёт далеко в своём развитии.

Он был не один, он сидел рядом с красивой молодой девушкой в трауре. На глазах её стояли слёзы, блестевшие в сиянии, исходившем от духа минувшего Рождества.

— Пустяки, — сказала она тихо и нежно. — Пустяки, — для вас-то. Другой кумир вытеснил меня из вашего сердца. И если в будущем он даст вам утешение и радость, что постаралась бы сделать и я, мне нет причин роптать.

— Какой же это кумир? — спросил Скрудж.

— Деньги.

— В ваших словах беспристрастный приговор

света! Такова людская правда! — сказал он. — Ничто не порицается так сурово, как бедность, и вместе с тем ничто так беспощадно не осуждается, как стремление к наживе.

— Вы уж слишком боитесь света, — ответила она кротко. — Все ваши другие надежды потонули в желании избежать низких упреков этого света. Я видела, как все ваши благородные стремления отпадали одно за другим, пока страсть к наживе не поглотила вас окончательно. Разве это не правда?

— Что же из того? — возразил он. — Что же из того, что я сделался гораздо умнее? Разве я переменился по отношению к вам?

Она покачала головой.

— Переменился?

— Союз наш был заключён давно. В те дни мы оба были молоды, всем довольны и надеялись совместным трудом улучшить со временем наше материальное положение. Но вы переменились. В то время вы были другим.

— Я был тогда мальчишкой, — сказал Скрудж с нетерпением.

— Ваше собственное чувство подсказывает вам, что вы были не таким, как теперь, — ответила она. — Я же осталась такою же, как прежде. То,

что сулило счастье, когда мы любили друг друга, теперь, когда мы чужды друг другу, предвещает горе. Как часто, с какою болью в сердце я думала об этом! Скажу одно: я уже всё обдумала и решила освободить вас от вашего слова.

— Разве я просил этого?

— Словами? Нет. Никогда.

— Тогда чем же?

— Тем, что вы переменились, начиная с характера, ума и всего образа жизни, тем, что теперь другое стало для вас главной целью. Моя любовь уже ничто в ваших глазах, точно между нами ничего и не было, — сказала девушка, смотря на него кротко и твёрдо. — Ну, скажите мне, разве вы стали бы теперь искать меня и стараться приобрести мою привязанность? Конечно, нет.

Казалось, что, даже помимо своей воли, Скрудж соглашался с этим. Однако, сделав над собою усилие, он сказал:

— Вы сами не убеждены в том, что говорите.

— Я была бы рада думать иначе, — сказала она, — но не могу, — видит Бог. Когда я узнала правду, я поняла, как она сильна, непоколебима. Сделавшись сегодня или завтра свободным, разве вы женитесь на мне, бедной девушке, без всякого приданого? Разве могу я рассчитывать на это? Вы,

всё оценивавший при наших откровенных разговорах с точки зрения барыша! Допустим, вы бы женились, изменив своему главному принципу; но разве за этим поступком не последовало бы раскаяние и сожаление? Непременно. Итак, вы свободны, я освобождаю вас и делаю это охотно, из-за любви к тому Скруджу, каким вы были раньше.

Он хотел было сказать что-то, но она, отвернувшись от него, продолжала:

— Может быть, воспоминание о прошлом заставляет меня надеяться, что вы будете сожалеть об этом. Но всё же спустя короткое время вы с радостью отбросите всякое воспоминание обо мне, как пустой сон, от которого вы, к счастью, очнулись. Впрочем, желаю вам счастья и на том жизненном пути, по которому вы пойдёте.

И они расстались.

— Дух, — сказал Скрудж, — не показывай мне больше ничего. Проводи меня домой. Неужели тебе доставляют наслаждение мои муки?

— Ещё одна тень, — воскликнул дух.

— Довольно! — вскричал Скрудж. — Не надо! Не хочу её видеть! Не надо!

Но дух остался неумолимым и, стиснув обе его руки, заставил смотреть.

Они увидели иное место и иную обстановку: комната не очень большая, но красивая и уютная; около камина сидит молодая девушка, очень похожая на ту, о которой только что шла речь. Скрудж даже не поверил, что это была другая, пока не увидел сидевшей напротив молодой девушки её матери — пожилой женщины, в которую превратилась любимая им когда-то девушка. В соседней комнате стоял невообразимый гвалт: там было так много детей, что Скрудж, в волнении, не мог даже сосчитать их; и вели себя дети совсем не так, как те сорок детей в известной поэме, которые держали себя, как один ребёнок, — нет, наоборот, каждый из них старался вести себя, как сорок детей. Потому-то там и стоял невообразимый гам; но, казалось, он никого не беспокоил. Напротив, мать и дочь смеялись и радовались этому от души. Последняя скоро приняла участие в игре, и маленькие разбойники начали немилосердно тормошить её. О, как бы я желал быть на месте одного из них! Но я никогда бы не был так груб! Никогда! За сокровища целого мира я не решился бы помять этих заплетённых волос! Даже ради спасения своей жизни я не стащил бы этот маленький бесценный башмачок! Никогда я не осмелился бы обнять этой талии,

как то делало в игре дерзкое молодое племя: я бы ожидал, что в наказание за это моя рука скрючится и никогда не выпрямится снова, и однако, признаюсь, я дорого бы дал, чтобы прикоснуться к её губам, спросить её о чём-нибудь — и только для того, чтобы она раскрыла их, чтобы смотреть на её опущенные ресницы, распустить её волосы, самая маленькая прядь которых была бы сокровищем для меня. Словом… я желал бы иметь право хотя бы на самую ничтожную детскую вольность, но в то же время хотел бы быть и мужчиной, вполне знающим ей цену.

Но вот послышался стук в дверь, — и тотчас же вслед за этим дети так ринулись к двери, что девушка со смеющимся лицом и помятым платьем, попав в самую средину раскрасневшейся буйной толпы, была подхвачена ими и вместе со всей ватагой устремилась приветствовать отца, возвратившегося домой в сопровождении человека, который нёс рождественские подарки и игрушки.

Толпа детей тотчас же бросилась штурмом на беззащитного носильщика. Дети взлезали на него со стульев, заменявших им приставные лестницы, залезали к нему в карманы, тащили свёртки в обёрточной коричневой бумаге, крепко

вцеплялись в его галстук, колотили его по спине и брыкались в приливе неудержимой радости. И с какими криками восторга развертывался каждый свёрток! Какой ужас охватил всех, когда один из малюток был захвачен на месте преступления, в тот момент, когда он положил кукольную сковородку в рот, и какое отчаяние вызывало подозрение, что он же проглотил игрушечного индюка, приклеенного к деревянному блюду, и как спокойно вздохнули все, когда оказалось, что всё это — ложная тревога. Шум смолк, и дети постепенно стали удаляться наверх, где и улеглись спать.

Скрудж стал ещё внимательнее наблюдать.

Он видел, как хозяин, на которого нежно облокотилась дочь, сел рядом с ней и женою у камелька. Взор Скруджа омрачился, когда он представил, что это милое, прелестное существо могло называть его отцом, согревать зиму его жизни.

— Бэлла, — сказал мужчина, с улыбкой обращаясь к жене. — Сегодня я видел твоего старого друга.

— Кого?

— Угадай.

— Как же я могу! Ах, знаю, — прибавила она,

отвечая на его смех. — Мистера Скруджа?

— Да. Я проходил мимо окна его конторы и, так как оно не было заперто, а внутри горела свеча, я видел его. Его компаньон, я слышал, умер, и теперь он сидит один, совсем один в целом мире.

— Дух, — сказал Скрудж с дрожью в голосе, — уведи меня отсюда!

— Я ведь сказал тебе, что это тени минувшего, — сказал дух.

— Уведи меня! — воскликнул Скрудж. — Я не перенесу этого!

Он повернулся и встретил взгляд духа, в котором странным образом сочетались отрывки всех лиц, только что им виденных.

— Оставь меня, уведи меня, не смущай меня более!

Не высказывая ни малейшего сопротивления всем попыткам Скруджа, дух, однако, остался непоколебим, и только свет, исходивший от него, разгорался всё ярче и ярче.

И смутно сознавая, что сила духа находится в зависимости от этого света, Скрудж внезапно схватил гасильник и с силой надавил его на голову духа.

Дух съёжился под гасильником, закрывшим его всего. Несмотря на то что Скрудж надвигал

гасильник со всей присущей ему силой, он всё-таки не мог погасить свет, лившийся из-под него непрерывным потоком.

И вдруг он почувствовал себя в своей спальне сонным, разбитым. Сделав последнее усилие придавить гасильник, при котором совсем ослабела его рука, он, едва успев дойти до кровати, погрузился в глубокий сон.

Строфа III
Второй дух

Всхрапнув слишком громко, Скрудж внезапно очнулся и сел на кровати, чтобы собраться с мыслями. Он отлично знал, что колокол скоро пробьёт час, и почувствовал, что пришёл в себя именно в то время, когда предстояла беседа со вторым духом, предсказанным Яковом Марли. Скруджу очень хотелось знать, **какую** из занавесок теперь отодвинет призрак. Но, ощутив от такого ожидания неприятный холод, он не утерпел и сам раздвинул их, снова улёгся в постель и насторожился. В момент встречи с духом он приготовился окликнуть его и тем скрыть свой страх и волнение.

Люди ловкие, умеющие найтись в каких угод-

но обстоятельствах, говорят, хвастаясь своими способностями, что им решительно всё равно, играть ли в орлянку или убить человека, хотя между обоими этими занятиями лежит целая пропасть. Я не настаиваю на том, что это вполне применимо к Скруджу, но вместе с тем и не стал бы разуверять вас в том, что Скрудж был настроен самым странным образом и, пожалуй, не особенно бы поразился, увидав вместо грудного младенца носорога.

Приготовясь ко всему, Скрудж, однако, никак не предполагал, что ничего не увидит, а потому, когда колокол пробил час, никто не явился, его охватила сильная дрожь. Прошло пять, десять минут, четверть часа — ничего не случилось. Скрудж продолжал лежать на своей постели, освещаемый потоком какого-то красноватого света, тревожившего его своей непонятностью гораздо более, чем появление двенадцати духов, — лежал до тех пор, пока часы не пробили час. Порой у него возникало опасение — не происходит ли уж в этот момент редкий случай самосгорания, но и это мало утешало его, так как и в этом он не был твёрдо убеждён.

Однако он, наконец, остановился на той самой простой мысли, которая нам с вами, читатель,

пришла бы в голову раньше всего. А уж это так всегда бывает: человек в чужой беде гораздо находчивее и отлично знает, что надо делать.

Итак, говорю я, Скрудж, наконец, решил, что источник и разгадка этого таинственного света находится в соседней комнате, откуда, по-видимому, и исходил свет. Когда эта мысль окончательно овладела им, он тихо встал и в туфлях подошёл к двери.

В ту минуту, когда Скрудж взялся за скобку, чей-то странный голос назвал его по имени и приказал ему войти.

Он повиновался.

В том, что это была его собственная комната, не могло быть ни малейшего сомнения, но с ней произошла изумительная перемена. Стены и потолок были задрапированы живой зеленью, производя впечатление настоящей рощи; на каждой ветви ярко горели блестящие ягоды. Кудрявые листья остролиста, омелы, плюща отражали в себе свет, точно маленькие зеркала, рассеянные повсюду. В трубе камина взвивалось огромное свистящее пламя, какого эти прокопченные камни никогда не знали при Скрудже и Марли за много, много минувших зим. На полу, образуя трон, громоздились индюшки, гуси, дичь,

свинина, крупные части туш, поросята, длинные гирлянды сосисок, пудинги, бочонки устриц, докрасна раскалённые каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие до приторности груши, крещенские сладкие пироги, кубки с горячим пуншем, наполнявшим комнату тусклым сладким паром. На троне свободно и непринуждённо сидел приятный, весёлый великан. Он держал в руке пылающий факел, похожий на рог изобилия, и высоко поднял его, так чтобы свет падал на Скруджа, когда тот подошёл к двери и заглянул в комнату.

— Войди! — произнёс дух. — Познакомимся поближе.

Скрудж робко вошёл и опустил голову перед духом. Он не был тем угрюмым и раздражительным Скруджем, каким бывал обыкновенно. И хотя глаза духа были ясны и добры, он не хотел встречаться с ними.

— Я дух нынешнего Рождества, — сказал призрак. — Приглядись ко мне.

Скрудж почтительно взглянул на него. Он был одет в простую длинную тёмно-зелёную мантию, опушенную белым мехом. Мантия висела на нём так свободно, что не вполне закрывала его широкой обнажённой груди, словно пренебрегавшей

каким бы то ни было покровом. Под широкими складками мантии ноги его были также голы. На голове был венок из остролиста, усеянный сверкающими ледяными сосульками. Его тёмные распущенные волосы были длинны. От его широко раскрытых, искрящихся глаз, щедрой руки, радостного лица и голоса, от его свободных, непринуждённых движений веяло добродушием и веселостью. На его поясе висели старинные ножны, изъеденные ржавчиной и пустые.

— Ты никогда не видал подобного мне? — воскликнул дух.

— Никогда, — отвечал Скрудж.

— Разве ты никогда не входил в общение с младшими братьями моей семьи, рождёнными в последние годы, и из которых я самый младший? — продолжал дух.

— Кажется, нет, — сказал Скрудж. — Много ли у тебя братьев, дух?

— Более тысячи восьмисот, — сказал дух.

— Вот так семья! — проворчал Скрудж. — Попробуй-ка её прокормить!

Дух нынешнего Рождества встал.

— Дух, — сказал покорно Скрудж, — веди меня, куда хочешь. По воле духа я пространствовал всю прошлую ночь и, признаюсь, полученный мною

урок не пропал даром. Позволь же мне и в эту ночь воспользоваться твоими поучениями.

— Прикоснись к моей одежде.

Скрудж исполнил приказание духа, крепко ухватившись за его мантию.

Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индюшки, гуси, дичь, свинина, мясо, поросята, сосиски, устрицы, пудинг, плоды, пунш — всё мгновенно исчезло. Скрылась и комната, огонь, поток красноватого света, исчезла ночь, и они очутились в рождественское утро на улицах города, где рабочие с резкими, но приятными звуками счищали с тротуаров и крыш домов снег, который, падая вниз на улицу, рассыпался снежной пылью, приводя в восторг мальчишек.

Окна мрачных стен домов казались ещё мрачнее от гладкой белой пелены снега на крышах домов и грязного снега на земле, который тяжёлыми колёсами карет и ломовых фур был изрыт, точно плугом, — глубокие борозды пересекались в разных направлениях по сто раз одна с другой, особенно на перекрёстках улиц, где они так перепутались в жёлтой, густой, ледяной слякоти, что их невозможно было отграничить.

Небо было пасмурно, и даже самые короткие улицы задыхались от тёмной влажно-ледяной

мглы, насквозь пропитанной сажей дымовых труб, частицы которой вместе с туманом спускались вниз. Казалось, все трубы Великобритании составили заговор и дымили вовсю.

Несмотря на то что ни в погоде, ни в городе не было ничего весёлого, в воздухе веяло чем-то радостным, чего не могли дать ни летний воздух, ни самый яркий блеск солнца.

Люди, счищавшие снег с крыш, были радостны и веселы; они перекликались друг с другом из-за перил, перебрасывались снежками — перестрелка, более невинная, чем шутки словесные, — и одинаково добродушно смеялись, когда снежки попадали в цель и когда пролетали мимо.

Между тем как лавки с битой птицей были ещё не вполне открыты, фруктовые уже сияли во всём своём великолепии. Расставленные в них круглые пузатые корзины с каштанами походили на жилеты весёлых пожилых джентльменов, которые вследствие своей чрезмерной полноты подвержены апоплексии и которые, развалившись у дверей, точно собираются выйти на улицу. Смуглый, красноватый испанский лук, напоминающий своей толщиной испанских монахов, с лукаво-игривой улыбкой посматривал с полок на проходивших девушек и с напускной

скромностью на висящие вверху омелы. Груши и яблоки были сложены в цветистые пирамиды. Прихотью лавочников кисти винограда были развешены весьма затейливо, весьма соблазнительно для прохожих. Груды коричневых, обросших мхом лесных орехов своим благоуханием заставляли вспоминать былые прогулки в лесу, когда доставляло такое наслаждение утопать ногами в сухих листьях. Пухлые сушёные яблоки из Норфолка, смуглым цветом ещё резче оттенявшие желтизну апельсинов и лимонов, были сочные и мясистые и, казалось, так и просились, чтобы их, в бумажных мешках, разнесли по домам и съели после обеда. Даже золотые и серебряные рыбы, выставленные в чашке среди этих отборных фруктов, — тупые существа с холодной кровью, — кругообразно и беззаботно плавая в своём маленьком мирке друг за другом и открывая рот при дыхании, казалось, знали, что творится нечто необычное.

А лавки колониальных товаров! Они ещё заперты. Быть может, снята только одна-другая ставня. Но чего, чего не увидишь там, хотя бы мельком заглянув в окна!

Чашки весов с весёлым звуком спускались на прилавок, бечёвки быстро разматывались с ка-

тушки, жестянки с громом передвигались, точно по мановению фокусника, смешанный запах кофе и чаю так приятно щекотал обоняние. А какое множество чудесного изюма, какая белизна миндаля, сколько длинных и прямых палочек корицы, обсахаренных фруктов и других пряностей! Ведь от одного этого самый равнодушный зритель почувствовал бы истому и тошноту! Винные ягоды, сочные и мясистые, французский кислый чернослив скромно румянится в разукрашенных ящиках — всё, всё в своём праздничном убранстве приобретало особый вкус!

Но этого мало. Надо было видеть покупателей! В ожидании праздничных удовольствий они так суетились и спешили, что натыкались друг на друга в дверях (причём их ивовые корзины трещали самым ужасным образом), забывали покупки на прилавках, прибегали за ними обратно и проделывали сотни подобных оплошностей, не теряя, однако, прекрасного расположения духа.

Но скоро с колоколен раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви и часовни, и толпа, разодетая в лучшее платье, с радостными лицами двинулась по улицам. Тотчас же из многочисленных улиц, неведомых переулков появилось множество людей, нёсших в булоч-

ные свой обед. Вид этих бедняков, которые тоже собирались покутить, очень занимал духа, и он, становясь у входа булочной и снимая крышки с блюд, когда приносившие обеды приближались к нему, окуривал ладаном своего факела их обеды. Это был удивительный факел: всякий раз, когда прохожие, натолкнувшись один на другого, начинали ссориться, достаточно было духу излить на них несколько капель воды из своего факела, чтобы тотчас же все снова становились добродушными и сознавались, что стыдно ссориться в день Рождества. И поистине они были правы.

Спустя некоторое время колокола смолкли, булочники закрыли лавки. Над каждой печкой остались следы в виде влажных талых пятен, глядя на которые было приятно думать об успешном приготовлении обедов. Тротуары дымились, словно сами камни варились.

— Разве еда приобретает особый вкус от того, что ты брызгаешь на неё? — спросил Скрудж.

— Да. Вкус, присущий только мне.

— Всякий ли обед сегодня может приобрести такой вкус?

— Всякий, который дают радушно. Особенно же обеды бедных людей.

— Почему? — спросил Скрудж.

— Потому что бедняки нуждаются в обеде более, чем кто-либо другой.

— Дух, — сказал Скрудж после минутного раздумья. — Меня удивляет, почему из всех существ бесчисленных миров, которые окружают нас, именно ты препятствуешь этим людям пользоваться иногда самыми невинными наслаждениями.

— Я? — воскликнул дух.

— Ты даже не допускаешь, чтобы они обедали каждое воскресение, а ведь только в этот день они, можно сказать, обедают по-человечески, — сказал Скрудж.

— Я? — воскликнул дух.

— Да ведь ты же стараешься, чтобы по воскресеньям эти места были закрыты, — сказал Скрудж.

— Я стараюсь? — воскликнул дух.

— Если я не прав, прости меня. По крайней мере, это делается от твоего имени или от имени твоей семьи, — сказал Скрудж.

— Много людей на земле, — возразил дух, — которые нашим именем совершают дела, исполненные страстей, гордости, недоброжелательства, зависти, ханжества и себялюбия. Но люди эти нам чужды. Помни это и обвиняй их, а не нас.

Скрудж обещал, и они, оставаясь так же, как и

прежде, невидимыми, направились в предместья города. Дух обладал замечательным свойством, заключавшимся в том (Скрудж заметил это в булочной), что, несмотря на свой гигантский рост, мог легко приспособляться ко всякому месту и так же удобно помещаться под низкой крышей, как и в высоком зале. Может быть, желание проявить это свойство, в чём добрый дух находил удовольствие, а может быть, его великодушие и сердечная доброта привели его к писцу Скруджа, в дом которого он вошёл вместе со Скруджем, державшимся за его одежду. На пороге двери дух улыбнулся и остановился, дабы кропанием из факела благословить жилище Боба Крэтчита. Ведь только подумать! Боб зарабатывал всего пятнадцать шиллингов в неделю; в субботу он положил в карман пятьдесят монет, носивших его же имя «Боб», — и однако дух благословил его дом, состоявший всего из четырёх комнат. В это время миссис Крэтчит встала. Она была бедно одета в платье, уже вывернутое два раза, но украшенное дешёвыми лентами, которые для шести пенсов, заплаченных за них, были положительно хороши. Со второй своей дочерью, Белиндой, которая также была разукрашена лентами, она накрыла стол. Пётр погрузил вилку в кастрюль-

ку с картофелем и, несмотря на то что углы его большого воротника (воротник этот принадлежал Бобу, который по случаю праздника передал его своему сыну и наследнику) лезли ему в рот, очень радовался своему элегантному платью и охотно показал бы своё бельё даже где-нибудь в модном парке. Два маленьких Крэтчита, мальчик и девочка, сломя голову вбежали в комнату с криками, что из пекарни они слышат запах своего гуся. Мечтая с восхищением о шалфее и луке, маленькие Крэтчиты начали танцевать вокруг стола и превозносить до небес Петра Крэтчита, который, несмотря на то что воротнички окончательно задушили его, продолжал раздувать огонь до тех пор, пока неповоротливый картофель не стал пускать пузыри, а крышка со стуком подпрыгивать, — знак, что наступило время вынуть и очистить его.

— Что случилось с вашим отцом и братом Тайни-Тимом? — спросила миссис Крэтчит. — Да и Марта в прошлое Рождество пришла раньше на полчаса.

— А вот и я, мама! — сказала, входя, девушка.

— Вот и Марта, — закричали два маленьких Крэтчита. — Ура! Какой гусь у нас будет, Марта!

— Что же это ты так запоздала, дорогая? Бог с

тобою! — сказала миссис Крэтчит, целуя дочь без конца и с ласковой заботливостью снимая с неё шаль и шляпу.

— Накануне было много работы, — ответила девушка, — кое-что пришлось докончить сегодня утром.

— Всё хорошо, раз ты пришла, — сказала миссис Крэтчит. — Присядь к огню и погрейся, милая моя. Да благословит тебя Бог!

— Нет, нет! — закричали два маленьких Крэтчита, которые поспевали всюду. — Вот идёт отец! Спрячься, Марта, спрячься!

Марта спряталась. Вошёл сам миленький Боб, закутанный в свой шарф длиною в три фута, не считая бахромы. Платье его, хотя и было заштопано и чищено, имело приличный вид. На его плече сидел Тайни-Тим. Увы, он носил костыль, а на его ножки были положены железные повязки.

— А где же наша Марта? — вскричал Боб Крэтчит, осматриваясь.

— Она ещё не пришла, — сказала миссис Крэтчит.

— Не пришла, — сказал Боб, мгновенно делаясь грустным. Он был разгорячен, так как всю дорогу от церкви служил конём для Тайни-Тима. — Не пришла в день Рождества!

Хотя Маргарита сделала всё это в шутку, она не вынесла его огорчения и, не утерпев, преждевременно вышла из-за двери шкафа и бросилась к отцу в объятия. Два маленьких Крэтчита унесли Тайни-Тима в прачечную послушать, как поёт пудинг в котле.

— А как вёл себя маленький Тайни-Тим? — спросила мистрис Крэтчит, подшучивая над легковерием Боба, после того как он долго целовался с дочерью.

— Прекрасно, — сказал Боб. — Это золотой ребёнок. Он становится задумчивым от долгого одиночества и потому ему приходят в голову неслыханные вещи. Когда мы возвращались, он рассказал мне, что люди в церкви при виде его убожества с радостью вспомнили о Рождестве и о том, кто исцелял хромых и слепых.

Всё это Боб говорил с дрожью в голосе и волнением, которое ещё более усилилось, когда он выражал надежду, что Тайни-Тим будет здоров и крепок.

По полу раздался проворный стук его костыля, и не успели сказать и одного слова, как Тайни-Тим вместе с своим братом и сестрой вернулся к своему столу, стоявшему возле камина, — как раз в то время, когда Боб, засучив рукава (Бедняк! Он

воображал, что их возможно износить ещё более!) составлял в глиняном кувшине какую-то горячую смесь из джина и лимонов, которую, размешав, он поставил на горячее место на камине. Пётр и два маленьких Крэтчита отправились за гусем, с которым скоро торжественно и вернулись.

С появлением гуся началась такая суматоха, что можно было подумать, что гусь самая редкая птица из всех пернатых — чудо, в сравнении с которым чёрный лебедь самая заурядная вещь. И действительно, гусь был большой редкостью в этом доме.

Заранее приготовленный в кастрюльке соус миссис Крэтчит нагрела до того, что он шипел, Пётр во всю мочь хлопотал с картофелем, мисс Белинда подслащивала яблочный соус, Марта вытирала разогретые тарелки. Взяв Тайни-Тима, Боб посадил его за стол рядом с собою на углу стола. Два маленьких Крэтчита поставили стулья для всех, не забыв, впрочем, самих себя, и, заняв свои места, засунули ложки в рот, чтобы не просить гуся раньше очереди.

Наконец, блюда были расставлены и прочитана молитва перед обедом. Все, затаив дыхание, замолчали. Миссис Крэтчит, тщательно осмотрев большой нож, приготовилась разрезать гуся, и,

когда после этого брызнула давно ожидаемая начинка, вокруг поднялся такой шёпот восторга, что даже Тайни-Тим, подстрекаемый двумя маленькими Крэтчитами, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голоском закричал: «Ура!»

Нет, никогда не было такого гуся! По уверению Боба, невозможно и поверить тому, что когда-либо к столу приготовлялся такой гусь. Его нежный вкус, величина и дешевизна возбуждали всеобщий восторг. Приправленный яблочным соусом и протёртым картофелем, гусь составил обед для целой семьи. Увидев на блюде оставшуюся небольшую косточку, миссис Крэтчит заметила, что гуся съели не всего. Однако все были сыты и особенно маленькие Крэтчиты, которые сплошь выпачкали лица луком и шалфеем. Но вот Белинда перемыла тарелки, а миссис Крэтчит выбежала из комнаты за пудингом, взволнованная и смущённая.

— А что, если он не дожарился? А что, если развалился? Что, если кто-нибудь перелез через стену заднего двора и украл его, когда они ели гуся.

Это были такие предположения, от которых два маленьких Крэтчита побледнели, как смерть. Приходили в голову всевозможные ужасы.

Целое облако пару! Пудинг вынули из котелка, и от салфетки пошёл такой запах мокрого белья, что казалось, будто рядом с кондитерской и кухмистерской была прачечная. Да, это был пудинг! Спустя полминуты явилась мистрис Крэтчит, раскрасневшаяся и гордо улыбающаяся, с пудингом, похожим на пёстрое пушечное ядро, крепким и твёрдым, кругом которого пылал ром, а на вершине в виде украшения был пучок остролиста.

Какой дивный пудинг! Боб Крэтчит заметил — и притом спокойно, — что миссис Крэтчит со времени их свадьбы ни в чём не достигала такого совершенства.

Почувствовав облегчение, миссис Крэтчит призналась в том, что она очень боялась, что положила не то количество муки, которое было нужно. Каждый мог что-либо сказать, но все воздержались даже от мысли, что для такой большой семьи пудинг недостаточно велик, хотя все сознавали это. Разве можно было сказать что-нибудь подобное? Никто даже не намекнул на это.

Наконец, обед кончен, скатерть убрана со стола, камин вычищен и затоплен. Отведав смесь в кувшине, все нашли её превосходной; яблоки и апельсины были выложены на стол, и совок каштанов был брошен на огонь. Потом вся семья

собралась вокруг камина, расположившись таким порядком, который Боб называл «кругом», подразумевая полукруг, и была выставлена вся стеклянная посуда: два стакана и стеклянная чашка без ручки.

Но посуда эта вмещала всё содержимое из кувшина не хуже золотых кубков. Каштаны брызгали и шумно потрескивали, пока Боб с сияющим лицом разливал напиток.

— С праздником вас, с радостью, дорогие! Да благословит вас Бог!

Вся семья и последним Тайни-Тим повторили это восклицание.

Тайни-Тим сидел рядом с отцом на своём маленьком стуле. Боб любовно держал его худую ручку в своей руке, точно боялся, что его отнимут у него, и хотел удержать.

— Дух, — сказал Скрудж с участием, которого раньше никогда не испытывал, — скажи, будет ли жив Тайни-Тим?

— В уголке, возле камина, я вижу пустой стул, — ответил дух, — и костыль, который так заботливо оберегают! Если тени не изменятся, ребёнок умрёт.

— Нет, нет! — воскликнул Скрудж. — О, нет! Добрый дух, скажи, что смерть пощадит его.

— Если тени не изменятся, дух будущего Рождества уже не встретит его здесь, — сказал дух. — Что же из того? Если он умрет, он сделает самое лучшее, ибо убавит излишек населения.

Скрудж склонил голову, услышав свои собственные слова, и почувствовал печаль и раскаяние.

— Человек, — сказал дух, — если в тебе сердце, а не камень, воздержись от нечестивых слов, пока не узнаешь, что такое излишек населения. Тебе ли решать, какие люди должны жить, какие умирать? Перед очами Бога, может быть, ты более недостойный и имеешь меньше права на жизнь, чем миллионы подобных ребёнку этого бедняка. Боже! Каково слушать букашку, рассуждающую о таких же, как она сама, букашках, живущих в пыли и прахе!

Скрудж, дрожа, наклонил голову и опустил глаза. Но он снова быстро поднял их, услышав своё имя.

— За мистера Скруджа! — сказал Боб. — Пью за здоровье Скруджа, виновника этого праздника.

— Действительно, виновник праздника! — воскликнула миссис Крэтчит, краснея. — Как бы я хотела, чтобы он был здесь. Я бы всё высказала ему откровенно, и, думаю, мои слова не при-

шлись бы ему по вкусу.

— Дорогая моя, — сказал Боб, — ведь сегодня день Рождества!

— Конечно, — сказала она, — только ради такого дня и можно выпить за здоровье такого противного, жадного и бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Никто лучше тебя не знает его, бедный Роберт!

— Дорогая, — кротко ответил Боб, — ведь сегодня Рождество!

— Только ради тебя и такого дня я выпью за его здоровье, — сказала миссис Крэтчит, — но не ради Скруджа. Дай Бог ему подольше пожить! Радостно встретить праздник и счастливо провести Новый год! Я не сомневаюсь, что он будет весел и счастлив!

После неё выпили и дети. Это было первое, что они сделали без обычной сердечности. Тайни-Тим выпил последним, оставаясь совершенно равнодушным к тосту. Скрудж был чистым чудовищем для всей семьи, упоминание его имени чёрной тенью осенило всех присутствующих, и эта тень не рассеивалась целых десять минут.

Но после того, как они отделались от воспоминаний о Скрудже, они почувствовали такое облегчение, что стали в десять раз веселее.

Боб сказал, что имеет в виду место для Петра, и если удастся получить это место, то оно будет приносить еженедельно пять шиллингов и шесть пенсов.

Два маленьких Крэтчита страшно смеялись при мысли о том, что вдруг Петр станет дельцом; а сам Пётр задумчиво смотрел из-за своих воротничков на огонь, точно соображая, куда лучше поместить капитал, с которого он будет получать фантастический доход. Марта, служившая ученицей у модистки, рассказала о своих работах, о количестве часов, которые она работала подряд, и мечтала о том, как завтра она будет долго лежать в постели и наслаждаться отдыхом. Завтра праздник, и она проведет его со своими. Она рассказывала ещё о том, как несколько дней тому назад видела лорда, который был так же высок ростом, как Пётр; при этом Пётр так высоко потянул воротнички, что почти не стало видно его головы. Всё это время каштаны и кружка переходили из рук в руки, а вскоре Тайни-Тим запел песнь о заблудившемся в снегах ребёнке — запел маленьким жалобным голоском, но поистине чудесно.

Во всём этом празднике не было ничего особенного. Одеты все были бедно, красивых лиц не

было. Башмаки были худы, промокали, платья поношены, и очень вероятно, что Пётр отлично знал, где закладывают вещи. Но все были счастливы, довольны, благодарны друг другу, и когда исчезали в ярких потоках света, исходивших из факела духа, то казались ещё счастливее, и Скрудж до последней минуты своего пребывания у Боба не спускал глаз с его семьи, а особенно с Тайни-Тима.

Тем временем стало темно, и пошёл довольно сильный снег. В кухнях, гостиных и других покоях домов чудесно блестели огни, когда Скрудж и дух проходили по улицам. Там, при колеблющемся свете камина, шли, очевидно, приготовления к приятному обеду с горячими тарелками, насквозь прохваченными жаром; там, чтобы заградить доступ мраку и холоду, можно было во всякий момент опустить тёмно-красные гардины. Там все дети выбежали на улицу, в снег, встретить своих весёлых сестёр, братьев, кузин, дядей и тёток и первыми повидаться с ними. Там, напротив, на оконных шторах ложатся тени собравшихся гостей; а здесь толпа девушек, наперебой болтающих друг с другом, перебегает лёгкими шагами в соседний дом — и плохо тому холостяку, который увидит их с пылающими от мороза лицами, — а

об этом хорошо знают коварные чародейки!

Судя по множеству людей, шедших в гости, можно было подумать, что никого не осталось дома и некому было встречать гостей, которых однако ожидали повсюду, затопив камины. Дух радостно благословлял всё. Обнажив свою широкую грудь и большую длань, он понёсся вперёд, изливая по пути чистые радости на каждого.

Даже фонарщик, усеивающий сумрачную улицу пятнами света, оделся в праздничное платье в чаянии провести вечер где-нибудь в гостях и громко смеялся, когда проходил дух, впрочем, нимало не подозревая об этом.

Но вот, без всякого предупреждения со стороны духа, они остановились среди холодного пустынного болота, где громоздились чудовищные массы грубого камня, точно это было кладбище гигантов; вода здесь разливалась бы, где только возможно, если бы её не сковал мороз. Здесь не росло ничего, кроме мха, вереска и жёсткой густой травы. Заходящее на западе солнце оставило огненную полосу, которая, на мгновение осветив пустыню и всё более и более хмурясь, подобно угрюмому глазу, потерялась в густом мраке тёмной ночи.

— Что это за место? — спросил Скрудж.

— Здесь живут рудокопы, работающие в недрах земли, — отозвался дух. — И они знают меня. Смотри.

В окнах хижины блеснул свет, и они быстро подошли к ней. Пройдя через стену, сложенную из камня и глины, они застали весёлую компанию, собравшуюся у пылающего огня и состоявшую из очень старого мужчины и женщины с детьми, внуками и правнуками. Все были одеты по-праздничному. Старик пел рождественскую песнь, и его голос изредка выделялся среди воя ветра, разносясь в бесплодной пустыне.

То была старинная песня, которую он пел ещё мальчиком; время от времени все голоса сливались в один хор. И всякий раз, когда они возвышались, старик становился бодрее и радостнее и смолкал, как только они упадали.

Дух недолго оставался в этом месте и, приказав Скруджу держаться за его одежду, полетел над болотом. Но куда он спешил? Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж с ужасом увидел конец суши, ряд страшных скал; он был оглушён неистовым гулом волн, которые крутились, бушевали и ревели среди чёрных пещер, выдолбленных ими, и так яростно грызли землю, точно хотели срыть её до основания. Но на

мрачной гряде подводных скал в нескольких милях от берега, где весь год бешено билось и кипело море, стоял одинокий маяк. Множество морских водорослей прилипало к его подножию, и буревестники, рождённые морским ветром, как водоросли — морской водой, поднимались и падали вокруг него, подобно волнам, которых они чуть касались крыльями.

Но даже и здесь два человека, сторожившие маяк, развели огонь, который сквозь оконце в толстой стене проливал луч света на грозное море. Протянув друг другу мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели с кружками грога, они поздравляли друг друга с праздником: тот, который был старше и лицо которого от суровой непогоды было покрыто рубцами, как лица фигур на носах старых кораблей, затянул удалую песню, звучавшую, как буря.

Снова понёсся дух над чёрным взволнованным морем, всё дальше и дальше, пока, наконец, далеко от берега, они не опустились на какое-то судно. Они побывали позади кормчего, занимающего своё обычное место, часового на носу, офицеров на вахте, стоявших на своих постах, подобно призракам. Каждый из них думал о Рождестве, тихонько напевал рождественскую песнь или

рассказывал вполголоса своему товарищу о прошедших праздниках и делился своими мечтами о родине, тесно связанными с этими праздниками. Каждый из бывших на корабле моряков, бодрствовал он или спал, был ли добр или зол, каждый в этот день становился ласковее и добрее, чем когда-либо, и вспоминал о тех далёких людях, которых он любил, веря, что и им отрадно думать о нём.

Прислушиваясь к завываниям ветра, Скрудж думал о том, как сильно должно поражать сознание, что ты несёшься сквозь безлюдную тьму над неведомой бездной, глубины которой таинственны, как смерть. Занятый такими мыслями, Скрудж очень удивился, услышав вдруг искренний смех, и удивился ещё более, когда узнал смех своего племянника и очутился в тёплой, ярко освещённой комнате рядом с духом, который приветливо улыбался его племяннику.

— Ха! ха! — смеялся тот. — Ха, ха, ха!

Если вам благодаря какому-либо невероятному случаю приходилось знать человека, превосходящего племянника Скруджа способностью так искренно смеяться, то я скажу, что охотно познакомился бы и постарался сблизиться с ним.

Как прекрасно и целесообразно устроено всё на

свете! Заразительны печали и болезни, но ничто так не заражает, как смех и весёлость. Вслед за своим мужем, который смеялся, держась за бока и корча всевозможные гримасы, не менее искренно смеялась жена. Собравшиеся гости также не отставали от них:

— Ха, ха, ха, ха!

— Он сказал, что Рождество вздор! Честное слово! — вскричал племянник Скруджа. — Мало того, он твёрдо убеждён в этом!

— Тем стыднее для него! — с негодованием сказала племянница Скруджа. — Да благословит Бог женщин: они никогда ничего не делают наполовину и ко всему относятся серьёзно.

Жена племянника Скруджа была очень хорошенькая женщина. Её личико с ямочками на щеках, несколько удивлённым выражением, ярким маленьким ротиком, точно созданным для поцелуев и который, конечно, часто целовали, — было очень привлекательно. Прелестные маленькие пятнышки на подбородке сливались, когда она начинала смеяться, а пару таких блестящих глаз вам вряд ли случалось видеть. Словом, она была очень пикантна, и никто не пожалел бы, познакомившись с ней поближе.

— О, он забавный старик, — сказал племянник

Скруджа, — это правда, и не так приятен, как мог бы быть. Я не упрекаю его: за свои ошибки он сам же и получает должное.

— Я уверена, что он очень богат, — попробовала намекнуть племянница Скруджа. — По крайней мере, ты всегда уверяешь в этом.

— Что же из того, дорогая, — сказал племянник Скруджа, — его богатство не приносит ему никакой пользы. Что хорошего он из него извлёк? Он не видит от него никакой радости. Его нисколько не утешает мысль, что он мог бы осчастливить нас своим богатством. Ха, ха, ха!

— Невыносимый человек, — заметила племянница Скруджа.

И сестры её и все другие женщины присоединились к её мнению.

— Нет, я не согласен с этим, — сказал племянник Скруджа. — Мне жаль его. Я не мог бы на него сердиться, если бы и хотел. Кто страдает от его чудачеств? Только он сам. Видите ли, он забрал себе в голову, что не расположен к нам и не хочет прийти обедать. Ну и что же? Он же и теряет, хотя, правда, немного.

— А по-моему, он лишился очень хорошего обеда, — прервала племянница Скруджа.

Все подтвердили её слова, и с тем большим ос-

нованием, что обед был кончен, и все собрались вокруг стола за десертом при свете лампы.

— Мне очень приятно это слышать, — сказал племянник Скруджа, — ибо я не очень-то доверяю искусству молодых хозяек. Вы что скажете, Топпер?

Очевидно, имея виды на одну из сестёр племянницы Скруджа, Топпер ответил, что холостяк — человек жалкий, отверженный и не имеет права выражать своего мнения по этому поводу. Одна из сестёр племянницы Скруджа, полная девушка в кружевной косынке (не та, у которой были розы), покраснела при этих словах.

— Продолжай же, Фред, — сказала племянница Скруджа, захлопав в ладоши. — Никогда он не договаривает того, что начнёт. Смешной человек!

Снова племянник Скруджа так расхохотался, что невозможно было не заразиться его весельем. Все единодушно последовали его примеру, хотя сестра племянницы Скруджа, полная девушка, желая удержаться от смеха, усиленно нюхала ароматический уксус.

— Я хотел только сказать, — промолвил племянник Скруджа, — что следствием его нерасположения к нам и нежелания повеселиться вместе с нами выходит то, что он теряет много

прекрасных минут, которые, конечно, не принесли бы ему вреда. Всё же, я думаю, ему гораздо интереснее было бы посетить нас, чем носиться со своими мыслями или сидеть в затхлой старой конторе или пыльных комнатах. Мне жаль его, а потому ежегодно я намерен приглашать его к нам, не обращая внимания на то, нравится ли это ему или нет. Пусть до самой смерти он относится к Рождеству так, как теперь, не считаясь с этим, а всё-таки ежегодно буду приходить к нему и радостно спрашивать: «Как ваше здоровье, дядюшка?..» и, надеюсь, он переменит, наконец, о нём мнение. И если, под влиянием этого, он оставит своему бедному писцу 50 фунтов стерлингов после смерти, то и этого будет довольно с меня. Думаю, что вчера мои слова тронули его.

Все засмеялись при последних словах. Но будучи предобродушно настроен и нисколько не смущаясь тем, что смеются над ним, лишь бы только смеялись, племянник Скруджа поощрял их в этом веселье, передавая с сияющим видом из рук в руки бутылку вина.

Семья была музыкальная, и сейчас же после чая началась музыка. Все отлично знали своё дело, а особенно Топпер, который во время исполнения хоровой песни и канона рычал басом,

даже не покраснев и не напружив толстых жил на лбу. Племянница Скруджа хорошо играла на арфе и среди других пьес исполнила простую коротенькую песенку (её можно было выучиться насвистывать в две минуты), знакомую даже тому маленькому ребёнку, который приезжал за Скруджем в пансион, как об этом ему напомнил дух минувшего Рождества.

Когда раздалась эта мелодичная песенка, Скрудж вспомнил всё то, что показал ему дух. Песенка очень растрогала его, и он подумал, что, если бы он прежде слышал её чаще, он относился бы сердечнее к людям и достиг бы счастья и без помощи могильщика, закопавшего тело Якова Марли. Но музыке был посвящён не весь вечер. Спустя некоторое время начали играть в фанты. Хорошо иногда сделаться детьми, а лучше всего быть ими в дни Рождества, когда сам Великий Основатель его был ребёнком. Сначала, разумеется, играли в жмурки. Я так же мало верю тому, что глаза Топпера были завязаны, как тому, что они были у него в сапогах. Между Топпером и племянником Скруджа был, очевидно, уговор помогать друг другу, о чём знал и дух Рождества. Уже одно то, как он ловил полную сестру племянницы Скруджа, было издевательством над человече-

ской доверчивостью. Преследуя её повсюду, он опрокидывал каменные принадлежности, спотыкался о стулья, наталкивался на фортепиано, запутывался в занавесах; он всегда знал, где она, и ловил только её одну. Если бы вы умышленно старались попасться ему под руку (что и делали некоторые), он сделал бы вид, что ловит вас, а на деле стремился бы только к полной девушке. Она всё кричала, что это не честно, и была, конечно, права. Но, наконец, он поймал её, загнав в угол, откуда не было выхода, несмотря на все старания её пропорхнуть мимо него, шурша шёлковым платьем. Здесь поведение его стало ещё возмутительнее! Он притворился, что не узнаёт её. Ему, видите ли, надо было дотронуться до неё, чтобы убедиться в этом, ощупать кольцо на её руке или цепочку на её шее. Гадко и омерзительно! Воспользовавшись моментом, когда ловил другой, а они оставались наедине за занавесками, она, конечно, откровению высказала ему своё мнение о его поведении.

Усевшись на большом стуле в уютном уголке и поставив ноги на скамейку, племянница Скруджа совсем не играла в жмурки. Позади неё стояли дух и Скрудж. В фанты же играла и она — и играла действительно искусно. Когда она

играла в игру «Как, когда и где», она, к великому удовольствию своего мужа, перещеголяла своих сестёр, несмотря на то что и они были очень находчивы в этой игре, — это мог подтвердить и сам Топпер. Скрудж также принимал участие в игре, ибо играли все присутствующие двадцать человек, молодые и старые. Играя, Скрудж иногда совершенно забывал о том, что не слышно его голоса, и часто вслух давал верные советы. Порой ни одна иголка самого лучшего изделия не могла своей остротой превзойти Скруджа, хотя он и делал вид, что мало догадлив.

Дух был очень доволен настроением Скруджа и так ласково смотрел на него, что тот, как мальчик, просил ещё побыть здесь до тех пор, пока гости не разойдутся. Однако дух не согласился.

— Начинается новая игра, — сказал Скрудж. — Ещё полчаса, дух.

Игра называлась «Да и нет». Все должны были отгадать то, что задумывал племянник Скруджа.

На вопрос он имел право отвечать только словами: «да» и «нет». На него полился целый поток вопросов — и выяснялось, что задумал он животное, не совсем приятное, дикое, которое иногда рычит и хрюкает, иногда говорит, проживает в Лондоне и расхаживает по улицам, — животное,

которого не показывают, не держат в зверинце и не предназначают на убой, которое — ни лошадь, ни осёл, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, который предлагали загадавшему, он разражался звонким смехом, точно его щекотали, и в припадке такого смеха соскакивал с дивана и топал ногами.

— Угадала, знаю, Фред, что это, — воскликнула, наконец, полная девушка, сестра племянницы Скруджа, разразившись таким же смехом. — Знаю!

— Что? — воскликнул Фред.

— Ваш дядя Скрудж.

Она угадала. Все были в восторге. Некоторые, впрочем, заметили, что на вопрос: «Медведь ли это?» надо было ответить «Да», а отрицательный ответ повёл к тому, что отвлёк мысли от Скруджа, хотя многие и думали о нём.

— Мы уж достаточно повеселились по его милости, — сказал Фред. — В благодарность за это удовольствие выпьем за его здоровье. Вот стакан глинтвейна. Итак: за здоровье дяди Скруджа!

— Прекрасно! За здоровье дяди Скруджа! — воскликнули все.

— Желаем ему радостно встретить праздник.

Каков бы ни был старик Скрудж, мы желаем ему счастливого Нового года! — сказал племянник Скруджа.

Незаметно для самого себя дядя Скрудж сделался так весел, и на душе у него стало так радостно, что он, если бы дух не торопил его, с удовольствием ответил бы тостом всем присутствующим, которые и не подозревали, что он находится среди них… Но всё исчезло раньше, чем племянник Скруджа договорил последние слова. Скрудж и дух снова уже были в пути.

Чего, чего они ни видали в своих долгих странствованиях! Они посетили множество домов, всюду принося счастье; останавливались у кроватей больных — и дух облегчал их страдания, те же, которые были в чужих странах, чувствовали себя благодаря ему как на родине. В людей борьбы дух вселял надежды, бедные чувствовали себя в его присутствии богатыми. В богадельне, госпитале, тюрьме, в притонах нищеты — везде, где только человек не закрывал дверей перед духом, он рассыпал свои благословения и поучал Скруджа.

Если только всё это совершилось в одну ночь, то ночь эта была очень длинна — казалось, что она вместила в себя много рождественских но-

чей. Странно было то, что в то время, как Скрудж оставался таким, каким был, дух, видимо, старел. Заметив в нём эту перемену, Скрудж, однако, ничего не сказал о ней до того момента, как они вышли из дома, где была детская вечеринка. Тут, оставшись наедине с духом под открытым небом, он вдруг заметил, что волосы духа стали седыми.

— Разве жизнь духов так коротка? — спросил Скрудж.

— Моя жизнь кончится сегодня ночью.

— Так для тебя эта ночь последняя! — воскликнул Скрудж.

— Да, конец мой нынче в полночь. Час мой близок. Слушай.

В этот момент часы пробили три четверти двенадцатого.

— Прости за нескромный вопрос, — сказал Скрудж, внимательно присматриваясь к одежде духа. — Я вижу под твоей одеждой что-то странное, тебе несвойственное. Нога это или лапа?

— Как будто лапа, — печально ответил дух.

Из складок его одежды вышло двое детей, несчастных, забитых, страшных, безобразных и жалких. Возле ног духа они стали на колени, цепляясь за полы его плаща.

— О человек! — воскликнул дух. — Взгляни

сюда!

То были мальчик и девочка. Жёлтые, худые, оборванные, они, точно волчата, смотрели исподлобья, но взгляд их был несмелый, покорный. Казалось бы, прелесть и свежесть молодости должна была светиться в их чертах. Но дряхлая, морщинистая рука времени уже обезобразила их. Там, где должны были царить ангелы, таились и грозно глядели дьяволы. Никакая низость, никакая извращённость, как бы велики они ни были, не могли создать в мире подобного уродства.

Скрудж в ужасе отшатнулся. Он хотел сказать, что дети красивы, но слова сами собой замерли у него на устах, которые не осмеливались произнести подобной лжи.

— Дух, они твои? — только и мог сказать Скрудж.

— Нет, это дети человека, — произнёс дух, смотря на них. — Они не выпускают края моей одежды, взывая о защите от собственных родителей. Мальчик — Невежество, девочка — Нужда. Остерегайся их обоих и всех подобных им, а пуще всего мальчика, ибо на челе его начертано: гибель. Остерегайся его, если только не сотрётся это роковое слово. Восстань на него! — вскричал дух. — Или же, ради своих нечистых умыслов,

узаконяй его, увеличивай его силу! Но помни о конце!

— Разве у них нет крова, разве никто не протягивает им руку помощи? — воскликнул Скрудж.

— Разве не существует тюрем? — спросил дух, обращаясь к нему в последний раз. — Разве нет работных домов?

Колокол пробил двенадцать.

Скрудж хотел взглянуть на духа, но дух уже исчез. Когда замер последний звук колокола, Скрудж вспомнил предсказание Якова Марли и, подняв глаза, увидел величественный образ, привидение с закутанной головой, которое, точно облако тумана, подвигалось к нему.

Строфа IV
Последний дух

Призрак подходил безмолвно, медленно, важно. При его приближении Скрудж упал на колени. Что-то мрачное и таинственное рассеивал призрак вокруг себя.

Голова, лицо, вся фигура его были закутаны в чёрную мантию, и, если бы не оставшаяся на виду простёртая вперёд рука, его трудно было бы отделить от ночного мрака.

Когда призрак поравнялся со Скруджем, Скрудж заметил, что он был огромного роста, и таинственное присутствие его наполнило душу Скруджа торжественным ужасом. Призрак был безмолвен и неподвижен.

— Я вижу духа будущего Рождества? — спросил Скрудж.

Призрак не ответил, но указал рукой вперёд.

— Ты покажешь мне тени вещей, которых ещё нет, но которые будут? — продолжал Скрудж. — Да?

Казалось, дух наклонил голову, ибо верхний край его мантии на мгновение собрался в складки. Это был единственный ответ, который получил Скрудж. Он уже привык к общению с духами, но этот безмолвный образ вселил в него такой страх, что ноги его дрожали; он чувствовал, что едва держится на них, что не в состоянии следовать за духом. Дух помедлил мгновение, точно наблюдая за ним и давая ему время опомниться.

Но от этого Скруджу сделалось ещё хуже. Безотчётный, смутный страх охватил его при мысли, что из-под этого чёрного покрывала на него устремлены бесплотные очи, тогда как он, сколько ни старался напрягать своё зрение, ничего не видал, кроме призрачной руки и бесформенной

чёрной массы.

— Духи будущего! — воскликнул Скрудж. — Ты страшишь меня больше прежних духов, виденных мною. Но зная твоё желание сделать меня добрым и надеясь стать иным человеком, чем прежде, я готов с благодарностью следовать за тобою. Почему ты ничего не говоришь мне?

Дух по-прежнему молчал. Его рука была направлена вперёд.

— Веди меня! — сказал Скрудж. — Веди меня! Ночь убывает, а время дорого мне — я знаю это. Веди меня, дух!

Призрак стал отдаляться от Скруджа точно так же, как и подходил к нему. В тени его мантии Скрудж последовал за ним, и ему казалось, что она уносила его с собой, а город как будто сам надвигался и окружал их.

Они очутились как раз в центре городка, на бирже, среди купцов, суетливо бегавших взад и вперёд, звеневших деньгами, толпившихся и разговаривавших между собой, посматривавших на часы, задумчиво игравших золотыми брелоками часов, — словом, они очутились в обстановке, хорошо знакомой Скруджу.

Дух остановился возле небольшой кучки купцов. Заметив, что рука духа указывала на неё,

Скрудж подошёл послушать разговор.

— Нет, — сказал крупный, толстый господин с громадным подбородком. — Я об этом совершенно ничего не знаю. Знаю только то, что он умер.

— Когда же? — спросил другой. — Кажется, прошлой ночью?

— Что же случилось с ним? — спросил третий, взяв из объёмистой табакерки большую щепотку табаку. — А я думал, что он никогда не умрёт.

— Бог его знает, — сказал первый, зевая.

— А что он сделал с деньгами? — спросил господин с красным лицом и висячим, трясущимся, как у индюка, наростом на конце носа.

— Я не слыхал, — сказал человек с большим подбородком и опять зевнул. — Но, может быть, он завещал деньги своей гильдии? Мне он их не оставил, я это прекрасно знаю.

Эта шутка вызвала общий смех.

— Вероятно, похороны будут очень скромные, — сказал тот же самый господин. — Я не знаю никого, кто бы пошёл его проводить до могилы. Честное слово! Не пойти ли нам, не дожидаясь приглашения?

— Я, пожалуй, не прочь, но только в том случае, если будет завтрак, — заметил господин с наростом на носу. — Только тогда я приму участие в

проводах, если меня угостят.

Снова раздался хохот.

— Чудесно! А я вот бескорыстнее вас всех, — сказал первый господин, — я никогда не носил чёрных перчаток и не ел похоронных завтраков. Но всё же и провожу его, если найдутся ещё желающие. Мне теперь сдаётся — не был ли я его близким другом, ибо, встречаясь с ним, мы обыкновенно раскланивались и перекидывались несколькими словами. Прощайте, господа! Счастливо оставаться!

Говорившие и слушавшие разбрелись и смешались с другими группами. Скрудж хорошо знал этих людей — и вопросительно взглянул на духа, ожидая объяснения того, что только что говорилось на бирже.

Но дух уже двинулся далее по улице. Он указал пальцем на двух встретившихся людей. Стараясь и здесь найти объяснение толков на бирже, Скрудж снова прислушался. Он знал и этих людей: то были очень богатые и знатные деловые люди. Скрудж всегда дорожил их мнением, конечно, в сфере чисто деловых отношений.

— Как поживаете? — сказал один из них.

— А вы как? — спросил другой.

— Хорошо, — сказал первый. — Старый хрыч

так-таки допрыгался.

— Я слышал, — ответил второй. — А холодно, не правда ли?

— По-зимнему, ведь Рождество! Вы не катаетесь на коньках?

— Нет. Нет, мне не до того! Мне и кроме этого есть о чём подумать! До свидания!

Сначала Скрудж удивился, почему дух придавал такую важность столь пустым, по-видимому, разговорам, но, чувствуя, что в них кроется какой-то особенный смысл, задумался. Трудно было допустить, что разговор шёл о смерти его старого компаньона Якова Марли, ибо то относилось к области прошлого; здесь же было царство духа будущего. Он не мог вспомнить никого из своих знакомых, кто был бы связан непосредственно с ним и к кому он мог бы отнести их разговор. Нисколько не сомневаясь, что, к кому бы он ни относился, в нём скрывается тайный смысл, клонящийся к его к собственному благу, он старался сохранить в памяти каждое слово, — всё, что видел и слышал. Он решил тщательно наблюдать за своим двойником, как только тот появится, надеясь, что поведение его двойника послужит руководящей нитью к изъяснению всех загадок.

Он оглядывался вокруг себя, ища взорами сво-

его двойника. Но в том углу, где обычно стоял Скрудж, был другой человек, часы же показывали как раз то время, когда должен был быть там Скрудж. Притом в толпе, которая стремительно входила в ворота, он не заметил ни одного человека, похожего на него самого. Однако это мало удивило его, ибо, решившись изменить образ жизни, он своё отсутствие здесь объяснял осуществлением своих новых планов.

Протянув вперёд руку, стоял сзади него спокойный мрачный призрак. Очнувшись от сосредоточенной задумчивости, Скрудж почувствовал, по повороту руки призрака, что его невидимые взоры были пристально устремлены на него. Скрудж содрогнулся, точно от холода.

Покинув бойкое торговое место, они отправились в смрадную часть города, куда Скрудж никогда не проникал прежде, хотя и знал её местоположение и дурную славу, которой она пользовалась. Улицы были грязны и узки, лавки и дома жалки, люди полуодеты, пьяны, безобразны, обуты в стоптанную обувь. Закоулки, проходы в ворота, места под арками, словно помойные стоки, изрыгали зловоние, грязь и толпы людей. Ото всего квартала так и веяло пороком, развратом и нищетой.

В глубине этого гнусного вертепа находилась низкая, вросшая в землю, с покосившейся крышей и навесом, лавчонка, — лавчонка, в которой скупали железо, старое тряпьё, бутылки, кости и всякий хлам. Внутри неё, на полу, были навалены кучи ржавых гвоздей, ключей, цепей, дверных петель, пил, весов, гирь и всякого скарба. Мало охотников нашлось бы узнать те тайны, которые скрывались здесь под грудами безобразного тряпья, под массами разлагающегося сала и костей. Среди всего этого, возле печки, топившейся углём и сложенной из старых кирпичей, сидел торговец — седой, старый семидесятилетний плут. Защитившись от холода грязной занавеской, сшитой из разных лохмотьев и висевшей на верёвке, он курил трубку, наслаждаясь мирным уединением.

Скрудж и дух вошли в лавку одновременно с женщиной, тащившей тяжёлый узел; почти следом за ней и дамой с узлом в лавку вошла другая женщина, а по пятам за ней вошёл человек в полинялой чёрной паре. Увидав и узнав друг друга, они остолбенели. Затем, после несколько мгновений смущения и удивления, которым охвачен был и сам хозяин, державший трубку в руке, все разразились смехом.

— Позвольте подёнщице быть первой, — сказала прежде всех вошедшая женщина. — Прачка пусть будет второй, а слуга гробовщика — третьим. Каково, старик Джо! Нежданно-негаданно мы все трое встретились здесь.

— Место как нельзя более подходящее, — сказал старик Джо, вынимая трубку изо рта. — Но идём в гостиную! Вы знаете, что вы там с давних пор свой человек, да и те двое не чужие. Подождите, я затворю дверь в лавку. Ах, как она скрипит! Мне кажется, что в моей лавке нет ни одного куска железа более заржавелого, чем её петли, и я уверен, что нет ни единой кости старее моих; ха, ха! Наша профессия и мы сами — мы стоим друг друга. Но в гостиную! Идёмте же!

Гостиной называлось отделение за занавеской, сшитой из тряпок. Старик сгрёб угли в кучу старым железным прутом, бывшим когда-то частью перил, лестницы, и, оправив коптящую лампочку (была ночь) чубуком своей трубки, снова взял её в рот.

В то время, когда он делал это, говорившая до этого женщина бросила свой узел на пол и развязно уселась на стул, положив руки на колени, нахально и вызывающе смотря на прочих.

— Ну, что из того? Что из того, мисс Дильбер! —

сказала женщина. — Каждый человек имеет право заботиться о самом себе. Он так и делал всегда.

— Это совершенно верно, — сказала прачка. — Но, кажется, никто не воспользовался этим правом в большей степени, чем он.

— Ну, чего вы таращите глаза друг на друга, точно друг друга боитесь? Кто знает об этом? Кажется, нам нет смысла строить друг другу каверзы.

— Конечно, — сказали в один голос Дильбер и слуга гробовщика. — Конечно!

— Ну и отлично, — воскликнула женщина. — Довольно об этом. Кому станет хуже от того, что мы кое-что взяли? Не мертвецу же!

— Разумеется, — сказала Дильбер, смеясь.

— Если этот скаред хотел сохранить все эти вещички после смерти, — продолжала женщина, — то почему при жизни он никому не делал добра: ведь если бы он был подобрее, наверное, нашёлся бы кто-нибудь, кто приглядел бы за ним при кончине, не оставил бы его одиноким при последнем издыхании.

— Нет слов справедливее этих! — сказала Дильбер. — Вот и наказание ему.

— Было бы даже лучше, если бы оно было потяжелее! — ответила женщина. — Оно и было бы

таковым, поверьте мне, если бы только я могла забрать ещё что-нибудь. Развяжите узел, старик Джо, и назначьте цену за вещи. Говорите начистоту. Я не боюсь того, что вы развяжете мой узел первым, а они увидят содержимое его. Кажется, мы довольно хорошо знаем занятия друг друга, ещё и до встречи здесь. В этом нет греха. Развязывайте узел, Джо.

Но деликатность её сотоварищей не позволила этого, и человек в чёрной полинявшей паре отважился первым показать награбленную добычу: её было немного. Одна или две печати, серебряный карандаш, пара запонок и дешёвенькая булавка для галстука — вот и всё! Старик Джо рассматривал и оценивал каждую вещь в отдельности, мелом записывая на стене сумму, которую рассчитывал дать за каждую вещь.

Кончив дело, он подвёл итог.

— Вот! — сказал Джо. — Я не прибавлю и шести пенсов, даже если б меня живьём сварили в кипятке. Теперь чья очередь?

Следующей была мистрис Дильбер. У неё было несколько простыней, полотенец, немного носильного платья, одна или две старомодные чайные серебряные ложки, сахарные щипцы и несколько сапог.

Её счёт записывался на стене тем же порядком.

— Женщинам я даю всегда очень дорого. Это моя слабость, и она вконец разорит меня, — сказал старик Джо. — Вот ваш счёт. Если вы будете настаивать на прибавке даже в один пенни, я раскаюсь в своей щедрости и вычту полкроны.

— А теперь развяжите мой узел, Джо, — сказала первая женщина.

Чтобы развязать его, Джо для большого удобства опустился на колени и, развязав множество узлов, вытащил большой тяжёлый свёрток какой-то тёмной материи.

— Что это? — спросил Джо. — Постельные занавески?

— Да, — ответила женщина со смехом, — постельные занавески.

— Неужели ты хочешь сказать, что сняла их вместе с кольцами, когда он ещё лежал на кровати? — спросил Джо.

— Разумеется, — ответила женщина. — А почему бы мне и не снять их?

— Тебе на роду написано быть богатой, — сказал Джо, — и ты, наверное, добьёшься этого.

— Раз представляется случай что-нибудь взять, да ещё у такого человека, я стесняться не стану! — возразила женщина хладнокровно. — Не

капните маслом на одеяло.

— Разве это его одеяло? — спросил Джо.

— А чьё же ещё, вы думаете? — ответила женщина. — Небось не простудится и без одеяла.

— Надеюсь, он умер не от какой-либо заразной болезни? — спросил старик Джо, оставляя работу и смотря на неё.

— Не беспокойтесь, — возразила женщина. — Не такое уж удовольствие доставляло мне его общество, не стала бы я из-за этого хлама долго возиться с ним, если бы он действительно умер от такой болезни. Разглядывайте сколько угодно, не найдёте ни одной дыры, ни одного потёртого места. Это — самая лучшая и самая тонкая из всех его рубашек. Не будь меня, она так бы и пропала зря!!

— Что вы этим хотите сказать? Почему пропала бы? — спросил старик Джо.

— Наверное, её надели бы на него и похоронили бы в ней, — отвечала женщина со смехом. — Да и нашёлся было такой дурак, который сделал это, но я снова сняла её. Если и коленкор не хорош для этой цели, то на что же после этого он годен! Коленкор очень идёт к покойнику, и авось он не станет хуже в коленкоре, чем в этой рубашке.

Скрудж с ужасом слушал этот разговор. Когда

все грабители собрались вокруг своей добычи при тусклом свете лампочки старика, он с омерзением и отвращением смотрел на них, он не чувствовал бы себя лучше, даже если бы сами демоны торговали его трупом.

— Ха, ха! — смеялась та же женщина, когда старый Джо выложил фланелевый мешок с деньгами и стал считать, сколько приходится каждому. — Вот и развязка! Всю жизнь он скряжничал, словно для того, чтобы после своей смерти дать нам поживиться. Ха, ха, ха!

— Дух, — сказал Скрудж, дрожа всем телом. — Я вижу, вижу. Участь того несчастного может быть и моей. Мне не избежать её! Но Боже милосердный! Что это?

Он отшатнулся в ужасе, ибо сцена изменилась и он очутился возле голой, незанавешенной постели, на которой, под изорванным одеялом, лежало что-то говорившее своим молчанием больше, чем словами.

Комната была настолько темна, что её почти невозможно было рассмотреть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то тайному влечению, внимательно разглядывал окружающее, стараясь определить, что это за комната. Бледный свет, проникавший снаружи, падал прямо на кровать,

на которой лежал забытый, ограбленный, беспризорный и неоплаканный труп.

Скрудж смотрел на духа. Его неподвижная рука указывала на голову. Покров был накинут так небрежно, что достаточно было лёгкого прикосновения, чтобы он спал с лица, Скрудж подумал о том, как легко это сделать, томился желанием сделать это, но не имел силы откинуть покрывала, равно как и удалить призрак, стоявший рядом с ним.

О смерть, суровая, ледяная, ужасная, воздвигни здесь свой алтарь и облеки его таким ужасом, каким только можешь, ибо здесь твоё царство! Но по твоей воле не спадёт и единый волос с головы человека, заслужившего любовь и почёт. Ты не в силах, ради страшных целей своих, внушить отвращение к чертам лица его, хотя рука его тяжела и падает, когда её оставляют, хотя прекратилось биение сердца его и замер пульс; эта рука была верна, честна, открыта; это сердце было правдиво, тепло и нежно, этот пульс бился по-человечески. Рази, убивай! Ты увидишь, как из ран прольётся кровь его добрых дел и возрастит в мире жизнь вечную!

Никто не сказал Скруджу этих слов, но он слышал их, когда смотрел на кровать. Он думал о

том, каковы были бы первые мысли этого человека, если бы он встал теперь. Алчность, страсть к наживе, притеснение ближнего? Поистине, к великолепному концу они привели его.

Он лежал в тёмном пустом доме, всеми покинутый, не было ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребёнка, которые сказали бы: он был добр к нам, и мы заплатим ему тем же. Кошка царапалась в дверь, а под каменным полом, под камином что-то грызли крысы. Почему они старались проникнуть в комнату покойника, почему они были так неугомонны и беспокойны — об этом Скрудж боялся и думать.

— Дух, — сказал он, — здесь страшно. — Поверь, оставив это место, я не забуду твоего урока. Уйдём отсюда!

Но дух указал на голову трупа.

— Понимаю тебя и сделал бы это, — сказал Скрудж, — но не могу. Не имею силы, дух, не имею.

И снова ему показалось, что призрак смотрит на него.

— Есть ли хоть один человек в городе, который сожалеет о кончине этого несчастного? — спросил Скрудж, изнемогая. — Покажи мне такого, дух.

Призрак раскинул перед ним на мгновение чёрную мантию, подобно крылу, и, открыв её, показал комнату при дневном свете, комнату, где была мать с детьми. Она тревожно ожидала кого-то, расхаживая взад и вперёд по комнате и вздрагивая при малейшем звуке, смотря то в окно, то на часы. Несмотря на все усилия, она не могла приняться за иглу и едва переносила голоса играющих детей.

Наконец, услышав давно ожидаемый стук, она поспешно подошла к двери и встретила своего мужа. Это был ещё молодой человек, но лицо его уже носило отпечаток утомления, забот и горя. Выражение его лица светилось какою-то радостью, которой он, по-видимому, стыдился, которую он старался подавить. Он сел за обед, подогревавшийся для него, и когда она, после долгого молчания, нежно спросила, какие новости, он, казалось, затруднился, что ответить.

— Хорошие или дурные? — спросила она, желая вывести его из этого затруднения.

— Дурные, — ответил он.

— Мы разорены вконец?

— Нет, ещё осталась надежда, Каролина.

— Если он смилостивится, — сказала поражённая женщина, — то, конечно, ещё не всё пропало,

если бы случилось такое чудо, осталась бы некоторая надежда.

— Ему уже теперь не до того: он умер, — сказал её муж.

Судя по выражению лица, Каролина была кротким, терпеливым существом — и всё-таки она не могла скрыть своей радости при этом известии. Но в следующее мгновение она уже раскаялась, подавив голос сердца.

— Значит, это правда — то, что вчера вечером сказала мне эта полупьяная женщина, — я о ней уже рассказывала тебе, — когда я хотела повидаться с ним и попросить отсрочки на неделю. Значит, это была не простая отговорка, не желание отделаться от меня, но совершеннейшая правда. Он был не только болен, он лежал при смерти. К кому же перейдёт наш долг?

— Я не знаю. Я думаю, мы ещё успеем приготовить деньги к сроку. Едва ли его преемник окажется столь же безжалостным кредитором. Мы можем спокойно спать, Каролина.

Да. Как ни старались они скрыть своих чувств, они всё-таки испытывали облегчение. Лица притихших, собравшихся в кучку послушать непонятный для них разговор детей повеселели. Смерть этого человека осенила счастьем этот дом.

Единственное чувство, вызванное этой смертью, было чувство радости.

— Если ты хочешь, чтобы эта мрачная комната изгладилась из моей памяти, — сказал Скрудж, — покажи мне, дух, такого человека, который сожалел бы о смерти покойника.

Дух повёл его по разным знакомым ему улицам. Проходя по ним, Скрудж всматривался во все, стараясь найти своего двойника, но нигде не видел его. Они вошли в дом бедняка Крэтчита, где они уже однажды были. Мать и дети сидели вокруг огня. Было тихо.

Очень тихо. Маленькие шалуны Крэтчиты сидели в углу тихо и неподвижно, точно статуэтки, глядя на Петра, державшего перед собою книгу. Мать и дочери, занятые шитьём, тоже были както особенно тихи.

«И он взял ребёнка и поставил его посреди них».

Где слышал Скрудж эти слова? Не приснились же они ему? Наверное, мальчик прочёл их, когда они переступили порог. Почему же он не продолжает?

Мать положила работу на стол и подняла руки к лицу.

— Этот цвет раздражает мои глаза, — сказала

она. — Ах, бедный, маленький Тим! Теперь лучше, — сказала жена Крэтчита. — Я хуже вижу при свете свечей. Мне очень не хочется, чтобы ваш отец, придя домой, заметил, что глаза мои так утомлены.

— Давно бы пора ему прийти, — ответил Пётр, закрывая книгу. — Мне кажется, что несколько последних вечеров он ходит медленнее, чем обыкновенно.

Снова воцарилось молчание. Наконец, жена Крэтчита сказала твёрдым весёлым голосом, который вдруг оборвался:

— Я знаю, что он… Помню, бывало, и с Тайни-Тимом на плече он ходил быстро.

— И я помню это, — воскликнул Пётр.

— И я, — отозвался другой. — Все видели это.

— Но он был очень лёгок, — начала она снова, усердно занимаясь работой, — и отец так любил его, что для него не составляло труда носить его. А вот и он!

И она поспешила навстречу маленькому Бобу, закутанному в свой неизменный шарф.

Приготовленный к его возвращению чай подогревался у камина, и все старались прислуживать Бобу, кто чем мог. Затем два маленьких Крэтчита взобрались к нему на колени, и каждый из них

приложил маленькую щёчку к его щеке, как бы говоря: не огорчайся, папа! Боб был очень весел и радостно болтал со всеми. Увидев на столе работу, он похвалил миссис Крэтчит и девочек за усердие и быстроту; они, наверное, кончат её раньше воскресенья.

— Воскресенья! Ты уже был там сегодня, Роберт? — сказала миссис Крэтинт.

— Да, дорогая, — отозвался Боб. — Жаль, что ты не могла пойти туда, у тебя отлегло бы на сердце при виде зелёной травы, которой заросло то место. Да ты ещё увидишь его. Я обещал приходить туда каждое воскресенье. Мой бедный мальчик, моё бедное дитя!

Он не в силах был удержать рыданий, может быть, он и удержал бы их, да уж слишком любили они друг друга!

Выйдя из комнаты, он поднялся по лестнице наверх, в комнату, украшенную по-праздничному. Возле постели ребёнка стоял стул и были заметны следы недавнего пребывания людей. Немного успокоившись, Боб сел на стул и поцеловал маленькое личико. Он примирился с тем, что случилось, и пошёл вниз успокоенный.

Все придвинулись к камину, и потекла беседа. Девочки и мать продолжали работать. Боб рас-

сказывал о чрезвычайной доброте племянника Скруджа, которого он видел только один раз. «Да, только раз, и однако, встретив меня после этого на улице, — говорил Боб, — и заметив, что я расстроен, он тотчас же осведомился, что такое со мной случилось, что так огорчило меня. И я, — сказал Боб, — я всё рассказал ему, ибо это необыкновенно славный человек. “Я очень сожалею об этом, мистер Крэтчит, — сказал он, — и душевно сочувствую горю вашей доброй супруги”. Впрочем, я удивляюсь, откуда он знает все это?»

— Что, мой дорогой?

— Что ты добрая, прекрасная жена!

— Всякий знает это, — сказал Пётр.

— Ты сказал хорошо, мой мальчик, — воскликнул Боб. — Надеюсь, это сущая правда. «Сердечно сочувствую вашей доброй жене. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам, — сказал он, — то вот мой адрес. Пожалуйста, навестите меня!» Это восхитительно, и прежде всего не потому, что он может принести нам какую-либо пользу, восхитительна прежде всего его любезность: он как будто знал нашего Тима и разделял наши чувства.

— Он, вероятно, очень добр, — сказала миссис Крэтчит.

— Ты ещё более убедилась бы в этом, дорогая, — ответил Боб, — если бы видела его и поговорила с ним. Меня, заметь, нисколько не удивит, если он даст Петру лучшее место.

— Слышишь, Пётр? — сказала миссис Крэтчит.

— А потом Пётр найдёт себе невесту, — воскликнула одна из девочек. — И обзаведётся своим домком.

— Отстань, — ответил Пётр, улыбаясь.

— Это всё ещё в будущем, — сказал Боб, — для этого ещё довольно времени. Но когда бы мы ни расстались друг с другом, я верю, что ни один из нас не забудет бедного Тима! Не правда ли?

— Никогда, отец! — вскричали все.

— Я знаю, — сказал Боб, — знаю, дорогие мои, что, когда мы вспомним, как кроток и терпелив он был, будучи ещё совсем маленьким, мы не будем ссориться в память о нём, не забудем бедного Тима.

— Никогда, отец, никогда, — снова закричали все.

— Я очень счастлив, — сказал маленький Боб, — я очень счастлив.

Миссис Крэтчит, дочери и два маленьких Крэтчита поцеловали его, а Пётр пожал ему руку.

— Дух, — сказал Скрудж, — мы должны скоро

расстаться — я знаю это. — Но я не знаю, как это будет? Скажи мне, кто тот покойник?

Дух будущего Рождества снова повёл его вперёд, как вёл и прежде, хотя, казалось, время изменилось: действительно, в видениях уже не было никакой последовательности, кроме того, что все они были в будущем. Они были среди деловых людей, но там Скрудж не видел своего двойника. Дух упорно, не останавливаясь, шёл вперёд, точно преследуя какую-то цель, пока Скрудж не попросил его остановиться хотя на одно мгновение.

— Двор, по которому мы мчимся так быстро, был местом, где я долгое время работал, — сказал Скрудж. — Я вижу дом. Позволь мне посмотреть, что станет со мной в будущем.

Дух остановился, но рука его была простёрта в другую сторону.

— Ведь вот дом, — воскликнул Скрудж. — Почему же ты показываешь не на него?

Но рука духа оставалась неподвижна.

Скрудж быстро подошёл к окну своей конторы и заглянул в неё. Сама комната, её обстановка были те же, что и прежде, но сидевший на стуле человек был не он. Однако призрак неизменно указывал в том же направлении.

Скрудж снова обернулся к нему, не понимая, куда и зачем ведут его, но покорился и следовал за духом до тех пор, пока они не достигли железных ворот.

Кладбище. Здесь под плитой лежал тот несчастный, имя которого предстояло узнать Скруджу. Это было место, достойное его. Оно было окружено домами, заросло сорной травой и другой растительностью — не жизни, а смерти, пресыщенной трупными соками. Да, поистине достойное место!

Дух стоял посреди могил и указывал на одну из них.

С дрожью во всём теле Скрудж приблизился к ней. Призрак оставался тем же, но Скрудж теперь боялся его, видя что-то новое во всей его величественной фигуре.

— Прежде чем я подойду к этому камню, на который ты указываешь, — сказал Скрудж, — ответь мне на один вопрос. Это тени будущих вещей или же тени вещей, которые могут быть?

Дух указал на могилу, возле которой стоял Скрудж.

— Пути жизней человеческих предопределяют и конец их, — сказал Скрудж. — Но ведь если пути изменятся, то изменится и конец. Согласуется ли

это с тем, что ты показываешь?

Дух был по-прежнему недвижим.

Скрудж, дрожа, подполз к могиле, следуя указанию пальца духа, и прочитал на камне заброшенной могилы своё имя:

«Эбензар Скрудж».

— Но неужели человек, лежавший на кровати, — я? — воскликнул Скрудж, стоя на коленях.

Палец попеременно указывал то на него, то на могилу.

— Нет, дух, нет!

Палец указывал в том же направлении.

— Дух, — воскликнул Скрудж, крепко хватаясь за одежду духа, — выслушай меня. Я уже не тот, каким был. Я не хочу быть таким, каким был до общения с тобой! Зачем ты показываешь всё это, раз нет для меня никакой надежды на новую жизнь?

Казалось, рука дрогнула — в первый раз.

— Добрый дух, — продолжал Скрудж, стоя перед ним на коленях. — Ты жалеешь меня. Не лишай же меня веры в то, что я ещё могу, исправившись, изменить тени, которые ты показал мне!

Благостная рука снова дрогнула.

— Всем сердцем моим я буду чтить Рождество и воспоминание о нём буду хранить в сердце

круглый год! Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! Воспоминание о духах будет всегда живо во мне, я не забуду их спасительных уроков. О, скажи мне, что я ещё могу стереть начертанное на этом камне!

В отчаянии Скрудж схватил руку призрака. Тот старался высвободить её, но Скрудж держал её настойчиво, крепко. Но дух оттолкнул его от себя. Простирая руки в последней мольбе, Скрудж вдруг заметил какую-то перемену в одеянии духа. Дух сократился, съёжился, — и Скрудж увидел столбик своей кровати.

Строфа V
Эпилог

Да, это был столбик его собственной кровати. И комната была его собственная. Лучше же всего, радостнее всего было то, что будущее тоже принадлежало ему, — он мог искупить своё прошлое.

— Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! — повторял Скрудж, слезая с кровати. — В моей душе всегда будет живо воспоминание о всех трёх духах. О Яков Марли! Да будут благословенны небо и Рождество! Я произношу это на

коленях, старый Марли, на коленях!

Он был так взволнован и возбуждён желанием поскорее осуществить на деле свои добрые намерения, что его голос почти отказался повиноваться ему. Лицо это было мокро от слёз, — ведь он так горько плакал во время борьбы с духом.

— Они целы! — вскричал Скрудж, хватаясь за одну из занавесок кровати. — Всё цело — я их увижу, — всего того, что могло быть, не будет! Я верю в это!

Он хотел одеться, но надевал платье наизнанку, чуть не разрывал его, забывал, где что положил, — проделывал всякие дикие штуки.

— Я не знаю, что делать! — вскричал Скрудиж, смеясь и плача, возясь со своими чулками, точно Лаокоон со змеями. — Я лёгок, как перо, счастлив, как ангел. Весел, как школьник! Голова кружится, как у пьяного. С радостью всех! С праздником! Счастливого Нового года всему миру! Ура! Ура!

Вбежав в припрыжку в приёмную, он остановился, совершенно запыхавшись.

— Вот и кастрюлька с овсянкой! — вскричал он, вертясь перед камином. — Вот дверь, через которую вошёл дух Якова Марли! Вот окно, в которое я смотрел на реющих духов! Всё, как и должно быть, всё, что было, — было. Ха, ха, ха!

Он смеялся, — и для человека, который не смеялся столько лет, этот смех был великолепен, чудесен. Он служил предвестником чистой, непрерывной радости.

— Но какое число сегодня? — сказал Скрудж. — Долго ли я был среди духов? Не знаю, не знаю ничего. Я точно младенец. Да ничего, это не беда! Пусть лучше я буду младенцем! Ура! Ура! Ура!

Громкий, весёлый перезвон церковных колоколов, — такой, которого он никогда не слыхал раньше, вывел его из восторженного состояния. Бим, бом, бам! Дон, динь, дон! Бом, бом, бам! О радость, радость!

Подбежав к окну, он открыл его и высунул голову. Ни тумана, ни мглы! Ярко, светло, радостно, весело, бодро и холодно! Мороз, от которого играет кровь! Золотой блеск солнца. Безоблачное небо, свежий сладкий воздух, весёлые колокола! Как дивно, хорошо! Как великолепно всё!

— Какой день сегодня? — воскликнул Скрудж, обращаясь к мальчику в праздничном костюме, который зазевался, глядя на него.

— Что? — спросил сильно удивлённый мальчик.

— Какой у нас сегодня день, мой друг? — спросил Скрудж.

— Сегодня? — ответил мальчик. — Вот тебе раз! Рождество, конечно!

— Рождество! — сказал Скрудж самому себе. — Значит, я не пропустил его. Духи всё сделали в одну ночь. Они всё могут, всё, что захотят. Разумеется, всё. Ура, дорогой друг.

— Ура! — отозвался мальчик.

— Знаешь ли ты лавку на соседней улице на углу, где торгуют битой птицей? — спросил Скрудж.

— Ещё бы не знать! — ответил мальчишка.

— Умник! — сказал Скрудж. — Замечательный мальчик! Так вот, не знаешь ли ты, продана или нет индейка, висевшая вчера там, — та, что получила приз на выставке? Не маленькая индейка, а большая, самая большая?

— Это та, что с меня величиной? — спросил мальчик.

— Какой удивительный ребёнок! — сказал Скрудж. — Приятно говорить с ним! Да, именно та, дружок!

— Нет, ещё не продана, — сказал мальчик.

— Да? — воскликнул Скрудж. — Ну, так ступай и купи её.

— Вы шутите?

— Нет, нет, — сказал Скрудж. — Нисколько.

Ступай и купи её. И скажи, чтобы её доставили сюда, а там я скажу, куда её отнести. Вернись сюда вместе с приказчиком, который понесёт индейку. За работу получишь шиллинг. Если же вернёшься раньше, чем через пять минут, я дам тебе полкроны.

Мальчик полетел, как стрела из лука, да с такой быстротой, с которой не пустил бы её и самый искусный стрелок.

— Я пошлю её Бобу Крэтчиту, — прошептал Скрудж, потирая руки и разражаясь смехом. — И он так и не узнает, кто её прислал. Она вдвое больше Тайни-Тима… Джек Миллер никогда бы не придумал подобной штуки — послать Бобу индейку!

Почерк, которым он писал адрес, был нетвёрд. Написав кое-как, Скрудж спустился вниз по лестнице, чтобы открыть дверь и встретить лавочника. Ожидая его, он остановился. Молоток попался ему на глаза.

— Всю жизнь буду любить его! — воскликнул Скрудж, потрепав его. — А прежде я почти не замечал его. Какое честное выражение лица! Удивительный молоток! А вот и индейка! Ура! Как поживаете? С праздником!

Ну и индейка! Вряд ли эта птица могла стоять

на ногах. Они мгновенно переломились бы, как сургучные палки!

— Да её невозможно будет отнести в Камден-Таун! — воскликнул Скрудж. — Придётся нанять извозчика.

Со смехом говорил он это, со смехом платил за индейку, со смехом отдал деньги извозчику, со смехом наградил мальчика — и всё это кончилось таким припадком хохота, что он был принуждён сесть на стул, едва переводя дух, хохоча до слёз, до колик.

Выбриться теперь, когда так сильно дрожали руки, было нелегко: бритьё требует внимания даже и тогда, когда вы совершенно спокойны. Ну, да и то не беда — если он сбреет кончик носа, можно будет наложить кусочек липкого пластыря, и дело в шляпе!

Одевшись в самое лучшее платье, Скрудж вышел, наконец, на улицу. Толпа народа сновала так же, как и во время его скитаний с духом нынешнего Рождества. Заложив руки назад, Скрудж с радостной улыбкой смотрел на каждого. Выражение его лица было так приветливо, что трое добродушных прохожих сказали ему: «Доброго утра, сэр! С праздником!» — и впоследствии Скрудж часто говорил, что из всего, что он когда-

либо слышал, это было самое радостное.

Сделав несколько шагов, он встретился с пожилым представительным господином, приходившим вчера в его контору и сказавшим ему: «Скрудж и Марли, не так ли?» — и что-то кольнуло его в сердце, когда он подумал, как-то взглянет он на него. Всё же он отлично знал теперь, что надо делать, и прямо подошёл к нему.

— Дорогой сэр, — сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря господина под руку. — Как поживаете? Полагаю, что вы поработали успешно. Как это хорошо с вашей стороны. Поздравляю вас с праздником!

— Мистер Скрудж?

— Да, — ответил Скрудж. — Меня зовут Скруджем, но я боюсь, что это неприятно вам. Позвольте попросить у вас извинения. Будьте так добры… — И тут Скрудж шепнул ему что-то на ухо.

— Боже мой! — воскликнул господин, с трудом переводя дух. — Вы не шутите, дорогой Скрудж?

— Нет, нет, — сказал Скрудж. — И ни полушки менее! За мной много долгов, с которыми я и хочу теперь расплатиться. Прошу вас!

— Дорогой сэр! — сказал господин, пожимая ему руку. — Не знаю, как и благодарить вас за такую щедрость.

— Ни слова больше, пожалуйста, — быстро воз-

разил Скрудж. — Не откажитесь навестить меня. Навестите? Да?

— С удовольствием! — воскликнул господин и таким тоном, что было ясно, что он исполнит своё обещание.

— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Я многим обязан вам. Бесконечно благодарен вам.

Он зашёл в церковь, а затем бродил по улицам, присматриваясь к людям, торопливо сновавшим взад и вперёд, заговаривал с нищими, ласково гладил по голове детей, заглядывал в кухни и в окна домов, — и всё это доставляло ему радость. Ему и во сне не снилось, что подобная прогулка могла доставить столько радости! В полдень он направился к дому своего племянника.

Но, прежде чем он отважился постучать и войти, он раз двенадцать прошёл мимо двери. Наконец, стремительно схватился за молоток.

— Дома ли хозяин, милая? — сказал он горничной. — Какая вы славная! Просто прелесть!

— Дома, сэр.

— А где, милая моя?

— Он в столовой, сэр, вместе с барыней. Я провожу вас, если вам угодно.

— Благодарю. Он знает меня, — сказал Скрудж, берясь за дверь в столовую.

Он тихо отворил и украдкой заглянул в комнату. Хозяева осматривали обеденный стол, накрытый очень парадно, ибо ведь молодые в этом отношении очень взыскательны, очень любят, чтобы всё было как у людей.

— Фред, — сказал Скрудж.

Батюшки мои, как вздрогнула при этих словах его племянница. Он совершенно забыл, что она сидела в углу, поставив ноги на скамейку, иначе он не сказал бы этого.

— С нами крестная сила! — воскликнул Фред. — Кто это?

— Это я. Твой дядя Скрудж. Я пришёл обедать. Можно войти, Фред?

Можно ли войти! Ему чуть не оторвали руку! Не прошло и пяти минут, как Скрудж почувствовал себя уже совсем как дома. Нельзя было и представить более радушного приёма. И племянница не отставала в любезности от мужа. Да не менее любезны были и пришедшие вслед за Скруджем Топпер и полная девушка, сестра племянницы, не менее любезны были и все остальные гости. Какая славная составилась компания! Какие затеялись игры! Какая царила радость, какое единодушие!

На следующее утро Скрудж рано пришёл в свою

контору. И да, ранёхонько! Непременно надо было прийти раньше Боба Крэтчита и уличить его в опоздании. Этого он хотел больше всего — и так оно вышло. Да. Часы пробили девять. Боба нет. Прошла ещё четверть часа. Боба нет. Он опоздал на целых восемнадцать с половиной минут! Скрудж сидел, широко растворив дверь, чтобы увидеть, как войдёт Боб в свою каморку.

Прежде чем отпереть дверь, Боб снял шляпу, а затем и шарф. В одно мгновение он был на своём стуле и заскрипел пером с необыкновенной поспешностью.

— Гм! — проворчал Скрудж, стараясь придать своему голосу обычный тон. — Что значит, что вы являетесь в такую пору?

— Я очень огорчён, сэр, — сказал Боб. — Я опоздал.

— Опоздал? Я думаю! Потрудитесь пожаловать сюда, сэр. Прошу вас!

— Это случается только раз в год, — сказал Боб, выходя из каморки. — Этого не повторится больше. Вчера я немного засиделся, сэр.

— А я, мой друг, хочу сказать вам следующее, — сказал Скрудж. — Я не могу более терпеть этого. А потому, — продолжал он, соскакивая со стула и давая Бобу такой толчок в грудь, что тот отшат-

нулся назад, в свою каморку, — я прибавляю вам жалованья!

Боб задрожал и сунулся к столу, к линейке. У него мелькнула мысль ударить ею Скруджа, схватить его, позвать на помощь народ со двора и отправить его в сумасшедший дом.

— С праздником! С радостью, Боб! — сказал Скрудж с серьёзностью, не допускавшей ни малейшего сомнения, и потрепал его по плечу. — С праздником, дорогой мой, но не таким, какие я устраивал вам раньше: я прибавлю вам жалованья и постараюсь помочь вашей бедной семье. Об этом мы ещё поговорим сегодня после обеда за чашкой дымящегося пунша. Прибавьте огня и купите другой ящик для угля. И немедля, Боб Крэтчит, не медля ни минуты!

Скрудж сдержал своё слово. Он сделал гораздо более того, что обещал. Для Тайни-Тима, который остался жив, он стал вторым отцом.

Он сделался совершенно другим — добрым другом, добрым хозяином и добрым человеком, таким добрым, которого вряд ли знал какой-либо добрый старый город в доброе старое время.

Некоторые смеялись, видя эту перемену, но он мало обращал на них внимания: он был достаточно мудр и знал, что есть немало людей на земле,

осмеивающих вначале всё хорошее. Знал, что такие люди всё равно будут смеяться, и думал, что пусть лучше смеются они на здоровье, чем плачут. С него было достаточно и того, что у него самого было радостно и легко на душе.

Больше он уже не встречался с духами, но всю свою последующую жизнь помнил о них. Про него говорили, что он, как никто, встречает праздник Рождества. И хорошо, если бы так говорили о каждом из нас, да, о каждом из нас! И да благословит Господь каждого из нас, как говорил Тайни-Тим.



Спасибо за выбор нашего издательства!

Поделитесь мнением о только что прочитанной книге.